

НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ

Рассказы

1

Юрий Алексеевич не мог предугадать, что в начале девяностых годов жизнь его так круто изменится. Казалось бы, для этого не было никаких оснований. Спокойное, размеренное существование не предвещало никаких перемен. И, тем не менее, перемены произошли, и настолько существенные, что не только начинающему стареть, консервативному по сути своей Коровину, но и всему коровинскому окружению стало немного не по себе.

Сначала его книгу бесцеремонно вышвырнули из плана местного издательства. Такого никогда еще не было в его жизни, которая, впрочем, не была особенно гладкой и безмятежной. Коровин на первых порах предполагал чьи-то козни, надеялся разрулить ситуацию при помощи уже не всемогущего обкома партии. Он никак не мог поверить, что так произошло не только с его творениями, но и со всей современной художественной литературой вообще. И окончательно упал духом, когда благообразный Сидягин, директор областного издательства, поглаживая холеную бородку, вяло пробормотал:

— Похоже, Юра, это конец. И не только нашему издательству. Хотят коммерческие книги выпускать — детективы, фантастику. Говорят, что в цивилизованных странах исключи-

Только такую продукцию и покупают. Только вот я, стало быть, не цивилизованный, поскольку изделия эти мне даром не нужны. Поздно вато старику за такой цивилизацией гоняться.

— Что же теперь делать? — недоуменно спросил Коровин.

— Вам — не знаю что. А мне — понятно. Уходить.

— А что вы без издательства делать будете? В этом же вся ваша жизнь! И мы куда без вас?

— Что хотите, то и делайте. Находите спонсоров и издавайте себе книжки. А я пойду на пенсию. Мне уже шестьдесят два. Буду внуков воспитывать. Зимой — лыжи, летом — дача, огород, рыбалка. У меня лодка двухместная, с надувным дном. А демократии этой... вот... — Валерьян Иванович сделал рукой неприличный жест. — Вот что она у меня получит, ваша хваленая демократия!

Юрию Алексеичу до пенсии оставалось около восьми лет, да и рабочего стажа у него почти не было. После окончания местного пединститута проработал он три года по распределению учителем в далекой марийской деревне, потом год в областной молодежной газете, а затем неожиданно удалось перейти на вольные писательские хлеба. Сам он никогда и не помышлял стать профессиональным писателем, все это получилось как-то неожиданно, само собой. Худо-бедно, но раз в пять лет выходила у него книжка в местном издательстве, пусть и изуродованная цензурой, дважды книги издавали в Москве, в журналах печатали если и не часто, то регулярно. Каждую неделю выступал перед трудящимися по линии бюро пропаганды художественной литературы. Одно время вел литстудию в том же пединституте, в котором довелось учиться. Но молодежное литобъединение только называлось таковым, поскольку посещали его из молодежи только три-четыре девушки с филфака. Основную массу составляли графоманы-склеротики, которые не воспринимали критические замечания, а хотели только читать на публике свои убогие, накарябанные на засаленных тетрадных листочках умопомрачительные рифмовки. Эти примитивно устроенные, но совершенно безобидные и нередко добрые, отзывчивые люди, тем не менее, жутко раздражали чуткого и тонко чувствующего Коровина полным неуважением к слову и его значению, поэтому он, в конце концов, не выдержал общения с такими учениками и передал бразды правления литобъединением местной поэтессе Рябинкиной.

Жил Юрий Алексеич при советской власти небогато, но и нищим назвать себя не мог. Ни машины, ни дачи никогда у него не было. Летом удавалось съездить на юг или в местный дом отдыха. Несколько раз вырывался в Дубулты, Коктебель и Перedelкино.

А главное, занимался Коровин любимым делом — литературой. Тем самым делом, которое было ему дороже и слаще всех дел на свете.

С Юрием Алексеичем произошло странное и редкое явление, объяснить которое могут только настоящие, коренные, природные, а не дипломированные платными постсоветскими вузами психологи. В противоположность другим писателям, особенно вышедшим из комсомольских активистов, он никогда не делал себе рекламы, не драл горло ни в колонных залах, ни в Политехнических музеях, и вообще очень не любил большие скопления людей. Вел себя крайне скромно, неброско, часто держался в тени. И, тем не менее, был он весьма известным человеком как в своей области, так и за ее пределами, а главное, пользовался уважением своих коллег. А чтобы писатели искренне уважали и почитали своего коллегу — такое бывает, увы, не слишком часто. По-видимому, сам облик Юрия Алексеича и его манера вести себя сильно располагали к нему людей.

В свои пятьдесят два года Юрий Алексеич столкнулся с проблемой, которая заставила его серьезно взяться за голову. Та самая литература, так беззаветно любимая им и дающая ему скромные средства к существованию, вдруг перестала

его корвалл на пенсию. Впрочем, Коровин, как и многие советские люди, никогда и не рассчитывал на пенсию. Почему-то он был убежден в том, что будет трудиться на писательской стезе до конца дней своих, и безносаемая смерть застанет его за письменным столом.

Теперь же ситуация сложилась таким образом, что литература стала для Коровина чем-то вроде хобби, а сам он оказался совершенно неподготовленным к такому положению вещей.

Наверное, ничего обидного нет в этом коротком английском слове, поскольку хобби всего лишь — любимое занятие в свободное от работы время. Литература, несомненно, была любимым делом Коровина. Но кроме литературы, увы, у него никакой работы не было, и ему теперь срочно предстояло ее найти.

Вся неприятность заключалась в том, что, пожалуй, единственное, что умел в этой жизни делать профессионально Юрий Алексеевич, так это писать стихи. Сочинял он, правда, и лирическую прозу с этаким краеведческим и этнографическим оттенком. Именно-то эти его краеведческие очерки и были востребованы инструкторами обкома партии и чиновниками из областного управления культуры, но сам-то Коровин хорошо понимал, что он не прозаик.

Нам уже довелось вспомнить, что очень давно Коровину пришлось попробовать силы в журналистике, но это была явно не его стихия. Как человек творческий, он сильно раздражал начальство тем, что не только имел на все свое мнение, но зачастую и высказывал его. В газету Коровин писал всегда не то, что от него требовали, не выносил словесные штампы, к замечаниям не прислушивался. Короче, журналистом был совершенно никудышным. Впрочем, объединять воедино писателей и журналистов может только тот, кто полностью лишен чувства слова и ощущения художественного текста. Более диаметральных по своей направленности профессий, наверное, не существует. Куда логичнее выглядит союз хирургов и рецидивистов, образованный на том основании, что и те, и другие работают ножом.

Оставался еще один вид деятельности, обозначенный, кстати, в дипломе Коровина — он все-таки окончил пединститут и был учителем русского языка и литературы.

Юрий Алексеевич ошибочно полагал, что его писательский билет и более чем областная известность откроют ему двери любого учебного заведения города. И потому начал с гимназии имени Льва Толстого, которую уже лет двадцать возглавлял его одноклассник по пединституту Славка Огурцов.

— Зря ты все это затеял, Юра, — вяло проговорил Славка, механически подписывая ворох каких-то бумаг. Коровин уловил презрительный взгляд пропахшей духами секретарши, со своих, женских, одноклеточных позиций оценившей его трехдневную седую щетину и видавший виды, оттопыренный на локтях замасленный свитерок грубой домашней вязки. — Писал бы стихи лучше. Ты хоть работал когда в гимназии?

— Да, я три года по распределению в марийской деревне...

— Три года? В деревне? В шестидесятых годах? Да ты забыл давно, что такое дети. У нас не просто школа, а гимназия. Нам родители большие деньги платят. А за что? Видел я твои стихи в одном журнальчике... коммунистическом. Не дай Бог наши спонсоры все это прочитают!

— В каком таком коммунистическом? — Коровин огласил название одного из самых авторитетных толстых литературных журналов Советского Союза, а теперь государства под названием РФ. — Неужели твои спонсоры платить тебе перестанут из-за того, что я не только провою уроки, но еще и стихи пишу, в свободное от работы время? В том ли мой изъян, что я по вечерам буду стихи писать, а не в телевизор плятиться? У нас же демократия...

— Это у вас, писателей, всегда была демократия, — перебил Огурцов. — А у нас гимназия. С гуманитарным уклоном. С гуманитарным, пойми, а не с техническим! Какая демократия может быть в преподавании? Шесть часов литературы в неделю. Солженицына изучаем.

— Ты думаешь, я все это не читал?

— Да читал, Юра... но я не знаю, какую ты отсебятину на уроках погонишь. Это тебе не в библиотеке трепаться перед книжными крысами. У нас — дети. В том числе две дочки депутатов городской думы.

— Стало быть, ты сомневаешься...

— Да, сомневаюсь, старик. Не в твоём таланте, пойми меня, не в твоих знаниях, которые для меня все же сомнительнее, чем твой талант, а в твоём педагогическом мастерстве и гибкости. Хотя я вирши твои никогда не любил, прости меня, грешного. Не любил, но ценил. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Не обижайся, друже. Мне и Достоевский не нравится, честно говоря. Слюнтяй и истерик. Но я ведь не буду такое детям говорить! Вот я, филолог, кандидат наук, директор лучшей в городе гимназии, а ведь я сам только два урока веду в неделю! Только два урока, старик! Толстой, Салтыков-Щедрин. И все! А в двадцатый век я не суюсь даже, как и при совке не лез! Не приведи господи! Это взрывоопасно! Зачем мне этот геморрой? Помнишь, как я защищал местную поэзию? На комсомольском собрании, когда тебя за упаднические настроения в стихках во все места трахали?

— Помню, Слава. Спасибо тебе. Ты из нашей группы единственным человеком оказался.

— Да ладно, единственным! Это твоё воображение... поэтическое. Девицы наши тебя обожали, многие были влюблены в тебя по уши. Ты просто их не замечал совсем. Ты никогда ничего и никого не замечал. Кроме книг, разумеется. Конечно, девушки боялись против комитета комсомола что-то вкатыть. Как же — стипендия, место в общежитии, аспирантура. А вот по поводу писателей, желающих учительствовать... Помнишь, что один профессор сказал Набокову, когда тот хотел устроиться к нему на кафедру преподавать литературу? «Никто не сомневается в том, что лев — царь зверей. Но почему лев должен писать историю животного царства?» И вообще, я скажу тебе — у нас все места заняты, и преподают квалифицированные учителя, даже профессор Балчугов спецкурс ведет по литературе русской эмиграции. За место в нашей гимназии такая борьба идет!

— Я понимаю, — смущенно проговорил Коровин.

— Да ни хрена ты не понимаешь. Оставь мне свои координаты, и если будет возможность, я тебе обязательно позвоню. Кстати, мне тут учитель физики нужен, почасовик. Один урок в неделю. Может, знаешь кого? А с литературой, сам понимаешь, трудновато.

После визита к Огурцову Юрий Алексеевич собрался с силами и отправился в городской департамент культуры, который уже десять лет как возглавлял розовощекий Игорь Пантелеев, бывший директор театра юного зрителя. Пантелеев был добрым, прямодушным человеком, со здоровыми деревенскими корнями. С Коровиным его связывали совместные поездки по области, кончающиеся традиционными застольями.

— У меня для вас есть только место охранника в драмтеатре, — деловито сказал Пантелеев. — Но это как-то не солидно. Попробую я связаться с областным департаментом образования, может, там местечко для вас найдется. А наша мэрия вам вряд ли поможет — в городе все места заняты.

Местечко нашлось, и не одно, а сразу несколько, но все — в отдаленных районах области.

Одно из этих мест, лишь только его назвала по телефону женщина из областно-

по департаменту, вызвало у Коровина яркие воспоминания. Когда-то в этом поселке, на территории которого располагался богатейший дом отдыха, работала его тетья, и он с матерью часто приезжал туда в школьные годы. Тетья Юрия Алексеевича была главным бухгалтером дома отдыха. Она странно и скоропостижно умерла. Кочевали слухи о каких-то деньгах, таинственным образом испарившихся со счета дома отдыха, но Юра Коровин к этим домыслам не прислушивался, и к тому же, как большинство поэтов, был далек от экономики.

Дом отдыха «Ветлужская старица» отстроил когда-то директор известного на всю страну автозавода. Этот перспективный, талантливый инженер и сильный администратор был по природе своей чисто советским человеком, и очень много думал не только о труде, но и об отдыхе своих подчиненных, количество которых измерялось тысячами. Он и сам частенько наезжал сюда, мастеровито и кропотливо ставил сети на Ветлуге и в местных озерах на виду у районного рыбнадзора, сквозь пальцы смотрящего на увлечение такого уважаемого человека. Помогал здешнему судоремонтному заводу, которому не везло с начальством. В период окончательной победы демократии, когда отечественное автопроизводство закончилось и завод купил очередной барыга, дабы удачно вложить деньги, дом отдыха остался без финансирования. Районная администрация отказалась брать на свой баланс «Ветлужскую старицу», поскольку она всегда была подразделением автозавода. В результате необратимых и фатальных реформ комсомольских мальчиков и примкнувших к ним неудавшихся радиофизиков не только большой кирпичный пятиэтажный корпус пансионата, но и два длинных пятиподъездных блочных трехэтажных дома, где жили повара, плотники, официантки, горничные, кочегары, водители — все люди, работающие в «Ветлужской старице», остались без света, отопления и горячей воды.

Именно для детей этих людей, а также и для детей, живущих в расположенном на ветлужской старице затоне, где уже много лет функционировал небольшой судоремонтный завод, существовала школа-семилетка.

Юрий Алексеевич настолько впечатлился воспоминаниями счастливого детства, что даже и слышать не захотел о других местах, которые предложила ему серьезная и вежливая дама из департамента.

Конечно, были места и поближе, чем «Ветлужская старица», но в ситуации Коровина, у которого никогда не было своей машины, лишние пятьдесят километров от города погоды не делали.

Кто-то из выдающихся мыслителей остерегал людей от посещения тех мест, где они однажды были счастливы. Коровин ощутил это на себе. Не то, чтобы воспоминания о жизни в «Ветлужской старице» были ему особенно дороги. Он почитал, что в общей сложности был здесь всего лишь четыре раза, причем всегда летом. Ужасало сравнение прошлой картины с нынешней. Единственное, что он узнал в доме отдыха — так это коричневые квадратики линолеума, стилизованные под паркет. Странно, но его не меняли сорок лет.

Два больших овальных фонтана, когда-то располагавшихся напротив главного корпуса, превратились в каменные дыры. В центре одной из этих дыр внимательный к деталям прозаик обнаружил небольшой постамент с торчащей из него проржавевшей железной арматурой, на которой торчали жалкие остатки алебастровой голени и потрескавшаяся стопа. Коровин вспомнил, что в центре этого фонтана когда-то стояла девушка с серпом в правой руке и с огромным снопом колосов в левой. Другой фонтан беспощадное и безжалостное время лишило даже постамент. Там в счастливые времена стоял мужчина, скорей всего изображавший рабочего, а вот что было у него в руках, Юрий Алексеевич никак не мог вспомнить и корил себя за такое беспамятство. Разумеется, погибшие скульптуры не представляли собой большой художественной ценности, но Коровину было поче-

му-то очень их жаль, и он думал о том, что куда нелепее этих наивных советских изваяний выглядят современные коттеджи, стилизованные под средневековые замки и обложенные одним и тем же убогим декоративным кирпичом.

Часто думал Юрий Алексеевич о том, как могла Россия попасть в такую беду, и меньше всего обвинял он в ней комсомольских активистов, в одночасье ставших президентами и банкирами. Эти люди никогда не ассоциировались у него с Мировым Злом. Слишком мелки были они для дел Князя Мира Сего, и никогда бы Люцифер не доверил свое отточенное тысячелетиями ремесло бодреньким розовощеким юношам в очках-слезках.

Настоящая ситуация представлялась ему уникальной в истории человечества. Во все времена, пока существует цивилизация, наиболее богатая часть населения всегда доминировала и в интеллектуальном отношении. Вожди первобытных племен были не только физически сильнее, но и умнее рядовых представителей своего племени. Патриции были образованнее плебеев и рабов (хотя, конечно, существовали и исключения из правила), феодалы — крепостных крестьян, фабриканты — наемных рабочих. И только в девятые годы века минувшего в несчастной России появился особый слой крайне богатых людей, не совсем удачно названный «новыми русскими», людей настолько убогих в интеллектуальном плане, что им оставалось только, согласно заветному анекдоту, делать в дневнике записи вроде «сегодня читал Пейджера».

Виктор Борисович Семушкин, глава поселковой администрации, встретил Коровина весьма любезно. Поблагодарил за подаренный сборник стихов, который сразу же отодвинул на край стола, подальше от глаз и деловых бумаг. По одному этому незначительному жесту Юрий Алексеевич сразу понял, что стихи его Семушкин никогда читать не будет.

— Очень я рад, Юрий Алексеевич, — сказал он, — что вы к нам приехали. В школе нашей мужиков явно не хватает. Кстати, к директорше Филимоновой я большие претензии имею. Так что, если хотите, то вполне реально вам стать директором. И еще одна приятная для вас новость — питаться можете в доме отдыха. Отдыхающих у нас почти не бывает, поскольку постоянно с электричеством проблемы, зато в корпусе уже три месяца живут газовики — в десяти километрах от нас ведут огромный газопровод аж из Западной Сибири. С Пал Иванычем у нас полный альянс, в столовой девушки все отменные, так что нечего вам лишний раз в магазин бегать — еда у вас будет бесплатная. И жить тоже будете в одноместном номере. Там все для жизни есть, даже телевизор. Только вот туалет и душ — в коридоре. Уж не взъищите за это. Ночью, если что, пройдете лишние двадцать метров. А помочиться на худой конец можно и в раковину. Включил воду — и ссышь туда. Поняли?

Семушкин засмеялся гомерическим смехом весельчака, остролова и гедониста.

2

Поначалу Юрий Алексеевич боялся, что в «Ветлужской старице» ему будет скучно и тоскливо. Но этого не произошло. Лес сразу же оглушил неуправляемой громадой, обилием кислорода, невыразимыми запахами. Работа в школе на поверку оказалась не такой уж и трудной, и занимала в общей сложности не больше пяти часов в день. Коровину дали шестые и седьмые классы, в каждом из которых училось по десять человек.

Чем больше наполняла его лесная тишина, тем настойчивее он ощущал ее органичность и целокупность.

Как это раньше он мог жить вне этой тишины, в пыли и шуме индустриального областного города?

Знакомясь с местными жителями, Юрий Алексеевич поначалу представлялся

как писатель. Это слово, однако, странно воздействовало на аборигенов ветлужского затона. С утробным подозрением они глядели на него, внимательно и придирчиво оглядывая с головы до ног — как на чужака, на человека странного и не такого, как все. Похоже, что им не слишком нравилось, что их детей будет учить не обыкновенный человек, а какой-то непонятный писатель.

Исключение составляла только Римма Павловна Залеская, библиотекарь дома отдыха. За последние полгода в библиотеке не появилось ни одного посетителя. Газовики книг не читали. После долгого рабочего дня устало пялились в старенькие телевизоры, нажимая кнопки раздолбанных, с постоянно выпадающими батарейками, пультах. Руководители участков вместе с девочками-бухгалтершами отмокали в простенькой, но чистой сауне с бассейном, которую иногда даже посещал глава местной администрации со своей деревенской командой.

Римма Павловна страдала легкой формой церебрального паралича и ходила на полусогнутых ногах. Своей семьи у нее никогда не было, и жила библиотекарша со старенькой мамой в двухместной комнате дома отдыха. Правда, был у них еще одноэтажный домик в затоне с частичными удобствами, оставшийся от бабушки с бабушкой.

Сердобольный директор «Ветлужской старицы» понимал, как трудно инвалидке и почти не передвигающейся старухе колоть дрова, топить печку и таскать воду из колонки, поэтому, и выделил им комнату в доме отдыха.

Римма Павловна сильно впечатлилась тем, что известный поэт Коровин поселился в их медвежьем углу. Она нашла в библиотеке шесть его поэтических сборников и книгу прозы, и целыми днями их перечитывала, готовясь к общению с приехавшей знаменитостью.

Залеская решила организовать встречу с писателем в районном центре, городе Варварине, и Варваринская районная библиотека в лице директорши, женщины вполне культурной и даже читающей толстые журналы, приходящейся, кстати, Римме Павловне дальней родственницей, откликнулась на ее инициативу.

Творческий вечер (а точнее, день, поскольку встреча началась в час пополудни) прошел довольно вяло.

В обшарпанном читальном зале библиотеки сидели школьники, загнанные туда учительницей литературы. Они пили пепси-колу и спрайт из пластиковых бутылок и постоянно дергались. Стихи Коровина, разумеется, их не впечатлили.

Только одна девушка с большими темными глазами, сидящая отдельно от этой резво гогочущей стайки, подняла худенькую ручку с просвечивающими на ней голубыми ниточками вен и еле-слышно произнесла:

— Скажите, а у вас есть стихи о любви?

Школьники громко захохотали.

Библиотекарши оказались словоохотливой. Они накрыли столик в кабинете заведующей, достали электрический чайник, с деревенской сноровкой моментально сварганили простенькие бутерброды с сыром и колбасой.

Через пять минут чайник уже кипел, и полненькая косоглазая брюнетка лет тридцати пяти уже услужливо бросила ему в чашку свежий пакетик чая «Принцесса Нури».

Коровин с удовольствием пил чай, радуясь, что «творческий вечер» наконец-то подошел к концу. Он не любил выступать перед аудиторией. По сути дела, наш герой любил только два дела в жизни — читать и писать.

Косоглазая всячески намекала, что, дескать, если он желает чего покрепче, то они быстро могут организовать — магазин в соседнем доме.

— Что вы, ни в коем случае! — возмутился Коровин. — У меня еще уроки сегодня.

— Какие теперь уроки? — не поверила пожилая директорша. — Три часа скоро. А вам еще ехать в «Ветлужскую старицу».

— Какие? Дополнительные... Да, дополнительные, — быстро соврал Коровин. — С отстающими учениками!

Все это время Римма Павловна с восторгом глядела на Коровина, и с чувством некоторого превосходства бросила взор на косенькую, когда они выходили из библиотеки.

— Римка-то как расцвела, — ехидно сказала та, когда Коровин с Риммой Павловной уже перешли дорогу и подошли к автобусной остановке.

— Брось ты, Юля, — ответила ей директорша. — Грех смеяться над убогими.

Автобуса долго не было. Коровин успел сильно замерзнуть. Римма Павловна неназойливо и как-то по-детски прижималась к нему, и он чувствовал, как дрожат ее руки.

— Вам, наверное, тяжело стоять, — сказал Юрий Алексеевич.

— Что вы! Совсем нет. Я могу... я все могу, — шептала библиотекарьша. — Это только так... внешне. Это только врачи так считают. Ненавижу врачей... Они мне всю жизнь испоганили.

Автобуса не было целую вечность. Юрий Алексеевич уже высказал мысль о том, не остановить ли им попутку.

— Что вы, какая попутка? Кто сейчас к нам поедет? Газовики на своих машинах ездят, со станции. Отдыхающих теперь нет. Раньше жена Семушкина к матери в Варварино моталась — и все. А теперь ее шофер на служебной возит. Разве что хлебная лавка поедет, но это только утром.

Наконец, подъехал дребезжащий «пазик», в салоне которого оказалось не теплее, чем на улице. Водила объявил, что этот рейс — коммерческий, и взял двойную плату.

«Русское безобразие неизлечимо», — подумал Коровин.

Юрий Алексеевич проводил библиотекаршу до корпуса, и она пригласила его к себе в комнату.

В комнате спала мама, поэтому Римма Павловна тихонько прикрыла дверь, чтобы не разбудить старушку, и повела Коровина в большую уютную столовую, освещенную тусклым электрическим светом.

«Мойте руки перед едой», — было написано на большом, облезлом, пожелтевшем от времени плакате с изорванными краями, уродливо свисающем с деревянного стенда. Другой плакат изображал смешных улыбчивых человечков с латинскими буквами на выпученных загорелых животиках. Коровин не сразу понял, что причудливая фантазия художника таким образом изобразила витамины.

Сама обстановка большого зала не располагала к доверительной беседе.

К столику подошла официантка.

— Римма Павловна, скоро газовики придут, нам накрывать надо, — как бы извиняясь, сказала она.

— Может, в библиотеку пройдем?

Коровин согласился.

Библиотека располагалась в другом, старом, деревянном корпусе. Там было холодно и уютно.

— У нас тоже можно чай попить, — сказала Римма Павловна.

Коровин отказался.

Юрий Алексеевич был настоящим писателем. И хоть не было у него большого дара, тем не менее, главным писательским качеством он обладал — с большим интересом относился к людям. Он сразу сообразил, что в этот момент очень нужен Римме Павловне, что хочет она рассказать ему нечто очень важное.

— Нет у нас теперь священника, — сказала она, — а то бы я к нему пошла. Грех у меня большой.

Десять лет назад, в последний год жизни Брежнева, был у Риммы Павловны роман с отдыхающим, подполковником-политруком.

Было ей тогда уже тридцать пять, как этой Юльке косоглазой из райцентра. Хотя и была Римма Павловна инвалидкой, хоть кривые ноги ее многих отталкивали, тем не менее, кое-какой опыт в таких отношениях у нее все же имелся и до встречи с политруком. И дело здесь не столько в уставших от трехнедельного воздержания политруках, сколько в обаянии самой библиотекарши, а также в том добром юморе, которым она привыкла комментировать свое горе. Всячески она внушала мужчинам, что ноги-то ногами, этого недостатка не отнимешь, а на самом деле у нее никаких комплексов-то и нет, не было и не будет, а про ноги она и сама все знает. Можно подумать, что ногами все женские достоинства исчерпываются!

И если до сих пор не нашелся человек, который оценил бы богатства ее души, то значит, он потом найдется! Душа может подождать, она — вечная. А вот тело долго ждать не может. Оно стареет, дряхлеет, собирает в себе болезни, впитывает их, как губка.

Подполковник укатил навсегда, к жене и двум взрослым дочкам, а врачиха из женской консультации категорически запретила ей рожать.

— Вы в родах погибнете, — сказала она категорично, — у вас судороги начнут-ся. И ребенок не выживет.

Посла аборта Римма Павловна сильно ударилась в религию, каждую неделю ездила в церковь в село Троицкое, за сорок километров от дома отдыха, отмаливала свой грех.

И если раньше никогда она на мужчин не бросалась, то после аборта поставила себе цель — хоть частично искупить свою вину, родить ребеночка, пока не поздно.

Но беременность больше не наступала.

— Я поняла, что мой возраст ушел, — проронила она еле слышно. — Как вот мне жить теперь?

Ответ был неожиданным:

— А вы попробуйте. И в сорок пять рожают. Мужчину только найдите хороше-го. Чтобы не пьяница.

— Я знала, что вы так скажете, — ответила Римма Павловна и вдруг не сдержалась, заплакала.

— Знаете, как иногда теплоты хочется! Просто теплоты человеческой, чтобы был кто-то рядом. Ну, а ноги... Что такое ноги! Если ноги кривые, так значит, уже и подышать надо? Или эти книжонки всю жизнь перебирать?

Римма Павловна вдруг замолчала, вспомнила, что рядом писатель, который как раз и пишет все эти книжонки, и вроде бы даже серьезно ко всему этому относится, и быстро проговорила:

— Извините.

Коровин попрощался и ушел, а Римма Павловна долго еще смотрела в одну точку.

«Странно, — подумала она, — почему он не стал священником?»

С этого дня тот разлад, который давно уже возник в душе Залеской, постоянно стал исчезать. Ей-то нужно было от Коровина всего лишь одно — чтобы он согласился с ее решением, понял ее, поселил в ней веру.

Она взяла в руки раскрытый еще прошлой ночью сборник стихов Коровина, стала читать его и вдруг поймала себя на том, что не понимает содержания. Она вдруг отчетливо ощутила, что ей никогда и не нужны были эти стихи. Но он был нужен ей как человек, и отчетливо понимала Римма Павловна, что писатель этот дарован ей свыше, что именно потому и приехал он в это Богом забытое место, что она, именно она однажды поселилась здесь.

Больше всего любил Юрий Алексеевич походы на Тумино озеро. Само это озеро представляло собой расширенную часть ветлужской старицы, незаметно переходящую в болото. В старицу впадала небольшая, по-северному застенчивая и немногословная речушка Шижма, которую частенько переходил Коровин по самодельному скользкому мостику, состоящему из произвольно нагроможденных, неотесанных сосновых бревен. С одной стороны вставал всей своей темной непроходимой громадой хвойный лес — кражистые раскидистые сосны, отличавшиеся на опушке особо широкой хвоей, и мрачные черные ели, покрытые с северной стороны причудливым серым лишайником. С другой — синела старица, за которой на необозримую широту и глубину расстилались светло-зеленые заливные луга.

Тропинка, идущая возле самой старицы, прерывалась поросшими травой болотными кочками, поэтому Юрий Алексеевич предпочитал двигаться вдоль опушки. Под ногами извивались юркие, чем-то встревоженные ужи, при виде человека напряженно устремлявшиеся к родному болоту.

Минут через сорок он углублялся в лес по темной проселочной дороге.

Тумино озеро встречало первозданным запахом сухих дубовых стволов и гнилых кувшинок, шорохом сухой листвы под ногами. Ничего особенного, казалось, и не было здесь, и само озеро скорее напоминало заболоченный левитановский пруд, и только гнилых мостков не хватало. И все же было в этом месте что-то особенное, необыкновенное, притягивающее к себе Коровина неким умозрительным онтологическим магнитом. Так иногда притягивают человека места, где он провел свое раннее детство или какую-то очень важную часть жизни.

Очень уж сильно ощущал Юрий Алексеевич, что это место крайне важно для него, что он уже был там много веков назад, в какой-то иной жизни. Наверное, так оно и было. Именно для такой жизни он и был рожден — для пребывания на этом озере. Именно такая жизнь и составляла всю суть, все существо его бытия, и только из-за какой-то досадной ошибки все произошло так, что он оказался в этом сером, гулком, промышленном городе, в тусклом и убогом коридоре областного издательства. В том самом темном коридоре, где всегда пахло известкой и канализацией, где на паркетном полу десятилетиями лежал пыльный красный ковер с двумя симметричными темно-коричневыми полосками по краям, точно такой же ковер, что и на лестнице старого корпуса в Переделкино.

Кто же совершил эту непоправимую ошибку? Кто так сильно выкрутил объектив небесного телескопа? Почему так поздно он попал сюда? Где он был раньше?

В школьные годы Юра Коровин сильно увлекался астрономией, читал научные книги, часто посещал местный планетарий, располагавшийся в бывшем соборе заброшенного монастыря. Звезды манили его необычайно, но полное отсутствие способностей к точным наукам вынудило его поступить на общедоступный филфак пединститута — городской приют для деревенских девочек. Коровин был не в состоянии запомнить ни одну формулу, но, тем не менее, категории пространства и времени занимали его необычайно. Конечно, не в физическом, а скорее в онтологическом смысле.

Однажды, еще в доброе советское время, он выступал со стихами в институте прикладной физики — прославленном научном заведении провинциального города, находящемся под эгидой Академии наук. Там-то он и познакомился с интеллигентным, несовременным профессором, который, однако, совершенно серьезно считал себя поэтом, поскольку понимал и чувствовал, что «палка-галка» — рифма, а «палка-селедка» — не рифма. Этот профессор рассказал Коровину, что время, согласно современным понятиям, величина векторная и имеет непостоянную скорость. Таким образом, в самых разных точках пространства время дви-

жестя с неординаровой скоростью. Коровин несколько раз потом звонил Льву Моисеевичу, задавал вопросы на эту тему.

Действительно, на Тумином озере время продвигалось совсем иначе. Казалось, оно застывало, как струйка смолы на сосне. Коровин всегда удивлялся тому, как много времени он проводил в этом месте, как незаметно проходило время на Тумином озере. Вместе со временем улетучивалась и краткая жизнь, и Юрий Алексеевич подчас даже ощущал какой-то подвох в посещении этого места. Жизнь проходит, жизнь уходит, жизнь исчезает, растворяется, и ничего, ничего не остается!

От Тумина озера недалеко было и до железки, до массивного, тяжеловесного моста через Ветлугу, с хмурым автоматчиком в облезлой будке, построенного чуть ли не сто лет назад. А за железкой открывались вырубки, откуда грязные, дребезжащие на ухабах тяжеловозы настойчиво, по-муравьиному тащили массивные сосновые стволы на лесопилку.

Напряженный и надрывный, искусственный, как будто отрешенный от мышленных забот мира сего гул электропоезда периодически доносился из глухого и непроходимого леса, и было в этом шуме что-то неотвратимое, пугающее, неизбежное. Как будто что-то обрывалось в нежной, дрожащей, жаждущей защиты душе, и с шумом падало в неумолимую, бессердечную, равнодушную бездну. В такие минуты жизнь казалась совершенно непредсказуемой, целиком независимой от нашей воли.

Да и что такое воля? Что такое это жалкое, присущее человеческой породе целеполагание? Почему живое существо вдруг обретает твердую, непоколебимую веру в то, что двигаться надо только в ту, а не в другую сторону? Что им движет, что управляет? Откуда оно берется, это подсознательное ощущение пути?

И действительно, в чем он — напряженный смысл жизни? И существует ли он вообще?

Все больше и больше понимал Юрий Алексеевич, что в жизни никакого-то смысла и нет, а есть только березовые и сосновые ветки, только напряженный, настойчивый, упрямый гул работяги-товарняка.

Так почему же людям не хватает этих березовых и сосновых веток? Почему им всегда так хочется мельтешить в погоне за чинами и званиями, которые они сами придумывают, а потом дают друг другу?

Однажды, внимательно разглядывая причудливый узор березовых веток на фоне серого осеннего неба, Коровин почему-то вспомнил местную поэтессу Веронику Бушуеву.

Бушуеву хронически не принимали в Союз писателей, хотя формально у нее все, что нужно было для такого членства в советские годы, имелось — две книжки, одна из которых была издана в столичном «Современнике», публикации в местных газетах, которые, кстати, всегда читали провинциальные интеллигенты — прежде чем бить ими мух.

Веронике писали блестящие рекомендации, однако на общих собраниях всегда находилось восемь-десять человек, которые вычеркивали ее фамилию, прежде чем бросить бумажку в коробку из-под утюга.

Так смешно, странно и нелепо это выглядело — картонная коробка на полированном столе, изображенный на ней утюг, пожилые люди в затертых до дыр пиджаках, серьезно бросающие в коробку мятые бумажки.

А самое нелепое было в том, как плакала после собраний пятидесятилетняя Бушуева, как размазывала по лицу дешевую косметику, сморкалась в одноразовые салфетки, слушая пьяные бормотания нечесаного поэта Флегонтова:

— Ты, Вероника, талантливее их всех! А как у тебя про любовь написано! Что-то там «иду к тебе» и все такое прочее!

— Правда, лучше? — криво и как-то виновато улыбаясь углом рта, спрашивала Бушуева, демонстрируя некрасивые золотые коронки на коренных зубах и черные кариозные резцы.

— Стопудово! — отвечал Флегонтов.

Как был счастлив Юрий Алексеевич, что может теперь по уважительной причине не посещать эти собрания, не кидать бумажки в коробку из-под утюга. За четверть века своего членства в Союзе он не вычеркнул ни одной фамилии — такой поступок казался ему омерзительным, нечеловеческим. В этом, однако, была и своя логика. Если человека рекомендовали в члены Союза его же товарищи, он не мог не доверять им. И вообще — как можно голосовать против писателя, если ты не читал его произведений? Получается как с загадочным дачником Пастернаком: «Я не читал роман, но я скажу...» Может быть, никому не известный человек — будущий Лев Толстой?

Но с годами таких новых членов становилось все больше и больше, и это как-то совсем не радовало Коровина. Откровенных графоманов стали принимать в творческий союз за спонсорские услуги или за место, занимаемое ими в том или ином издательстве. Как-то приняли одного тележурналиста в надежде, что он будет показывать местных писемников по голубому экрану. Коровин не имел ничего против этих людей. Наоборот, как люди они были ему очень интересны.

Но почему не брали Бушуеву, он никак понять не мог. Юрию Алексеевичу искренне жаль было эту непутевую женщину, у которой ничего в жизни-то и не было, кроме старой пишущей машинки «Москва» и родительской библиотеки, и которой почему-то так хотелось официально называться писательницей. И стихи у нее были неплохие, и всегда Вероника вела себя достойно. Все время только в стихах своих кого-то любила и переживала из-за этой перманентной, не прекращающейся в ее воображении любви, и все шла и шла к какому-то придуманному, никогда не существовавшему человеку.

Никогда рядом с ней Коровин не видел ни одного мужчины. Есть такие дамы — вроде бы все на месте, а чего-то не хватает им для личной жизни, какого-то маленького незаметного шурупика. Так вот можно разобрать будильник на отдельные колесики, гаечки, шурупики, пружинки и шестеренки, а потом собрать его. Только вот если этот незаметный шурупик под стол закатится, провалится в щель между половиц, ничего не будет, кроме красивого циферблата — остановится зябкое и неуправляемое время.

С Риммой Павловной все понятно — церебральный паралич. А у Вероники никаких видимых уродств не было — ни врожденных, ни приобретенных.

«Меня мама так воспитала, — сказала она как-то Коровину после совместного выступления на свиноферме колхоза «Заветы Ильича». — Умри, а не давай поцелуя без любви. Как вы считаете, это верно?»

Коровин не знал, как ответить. Наконец, пробормотал, что такие вопросы его никогда особенно не интересовали, это все слишком женское, специфическое, как раньше говорили, «для служебного пользования».

«Ну как же так? — недоумевала Бушуева. — Ведь вы писатель! Лучший наш писатель!»

«Но я не сексопатолог», — уныло проговорил Юрий Алексеевич. Как хотелось ему утешить бедную Бушуеву, но он не мог, не слушался подлый язык.

«Совсем вы меня не понимаете, — тихо проговорила расстроенная поэтесса и потянулась за влажной салфеткой. У нее опять глаза были на мокром месте. — При чем тут секс? Мне противно и думать о таких грязных вещах, а говорить — тем более. Я-то думала, что вы тонкий, не такой как все...»

Действительно, Коровин был не такой как все. А Вероника Борисовна тем более, поскольку не все соглашаются умирать без поцелуев, превращаясь в умопо-

мрачительное ничто, в денатурировавший белок. Но почему-то эта избирательность и нестадность, так присущая и ей, и ему, не сплачивала, а скорее разделяла их. Синица отличается от кур тем, что умеет летать, а орел — тем, что питается мелкими животными. И синица, и орел ничего не имеют общего с кудахтающим курятником. Но ведь между синицей и орлом тоже так мало общего!

Вот этот небольшой нюанс никак не могла осознать Вероника Борисовна, всячески намекая Коровину, что, дескать, мы с вами не куры, да к тому же еще и такие хорошие стихи пишем.

Последний бенефис Бушуевой в здании писательской организации был ужасен. И действительно, Вероника Борисовна могла бы войти в книгу рекордов Гиннеса по количеству рекомендаций в Союз, которые она набрала не только в родной провинции, но и в первопрестольной.

В рекомендациях все писали о ее несомненном таланте, а на деле все получалось как-то некрасиво.

В этот день Бушуева надела блестящее, серебристое, облегающее платье, накинула на плечи тонкую кружевную шаль черного цвета, вылила на себя флакон дорогих духов и поехала в трамвае на свою Голгофу, а точнее, в особняк Союза писателей.

— Вероника Борисовна, — сказал старенький Корнев, поэт-сатирик, которому поручили вести собрание, — мы знаем вас настолько хорошо, что вам даже не следует рассказывать о себе. Товарищи... — Корнев внимательно оглядел присутствующих. — Имейте совесть. Человек четвертый раз пытается вступить в Союз. У нее восемь рекомендаций, причем одна принадлежит перу самого Сергея Михалкова.

В зале засмеялись, и Корнев понял, что напрасно назвал фамилию орденоносного автора «Дяди Степы», которая в данной ситуации может скорей навредить бедной поэтессе.

— Я прошу вас не голосовать против этой женщины. Ведь мы все ее знаем.

— Да бросьте вы, Михаил Иванович! — перебила Бушуева. — Не нужен мне ваш Союз. Давайте я лучше стихи почитаю.

— Нет уж, ваших стихов нам не надо, — выкрикнул кто-то из зала. — А если в Союз не хотите, тогда нечего было нас собирать, время тратить понапрасну.

— Вы слышали?! — обратилась Бушуева к Корневу. — Им не нужны стихи! Скажите, пожалуйста, а что вам вообще нужно? Да я лучше покончу с собой, чем буду... здесь... с вами... да я...

И тут Вероника сорвала с шеи прозрачную шаль и стала раздирать ее на мелкие кусочки. Когда с шалью было покончено, она принялась за платье. Рванула его сверху вниз.

Обнажился жирный целлюлитный живот и грязный, годами не стиранный лифчик.

В зале присутствовал известный в городе психотерапевт, писатель по совместительству, автор популярных книг по психологии и психиатрии. Он-то сразу раскумекал, что это не острый психоз, а обычная женская истерическая реакция.

— А ну-ка прекрати! — закричал он. — Быстро прекрати это безобразие!

Вероника опешила.

— Вон отсюда, скотина! — заорал психотерапевт. — И пока не зашьешь платье, не возвращайся.

Бушуева как комета вылетела из зала.

— Давайте простим Веронике этот поступок, — предложил пришедший в себя Корнев. — Она переволновалась. Так сказать, хрупкая женская психика. Возможно, ночь не спала. Напоминаю вам — человек четвертый раз документы подает. У меня предложение — приступить к голосованию. Кто за то, чтобы поддержать это предложение?

— Не подняли руки.

— Единоголосно. Предлагаю в состав счетной комиссии включить Доренко, Рябинкину и Коровина. Давайте проголосуем за членов счетной комиссии. Как будем голосовать — списочно или по персоналиям?

— Списочно, списочно!

— Кто за?.. Единоголосно. Прошу членов комиссии к столу.

Почему теперь, на Тумином озере, Коровин так отчетливо вспомнил этот день? Отсюда до Союза, до старинного двухэтажного особняка, где разыгрывался этот спектакль, было всего-то сто пятьдесят километров, два с небольшим часа на машине... Но казалось, что он приехал на другую планету, и никогда, никогда в жизни, уже не вернется обратно!

Коровин сделал несколько шагов вперед, подошел к замшелому стволу упавшей ели, сел на него. Пахло мокрой корой и чем-то специфически болотным, как пахнет только осенью. По еловой коре ползли маленькие рыжие муравьи. Очень много муравьев. Надо же, сколько их! И у каждого своя жизнь. И никто из них не читал стихи Коровина. Не читал и не прочтет никогда.

И он снова перенесся назад, в здание писательской организации...

Коровин нехотя подошел к длинному обшарпанному столу. Рядом приземлилась грузная, располневшая и потная Рябинкина. На столе появилась сакраментальная коробка с изображением утюга, принесенная Корневым из комнаты бухгалтерши.

Писатели подходили к столу, расписывались в ведомости и получали по бумажке, на которой были напечатаны на машинке — для экономии и ускорения процедуры! — сразу две фамилии — Бушуевой и Петрушкина.

Петрушкин был полковником МВД в отставке, на пенсии принявшимся за изготовление детективов. У писателя-полковника имелся несомненный плюс — сюжеты своих повествований он не выдумывал, а черпал из многолетней следовательской практики. Детективы Петрушкина охотно печатала местная молодежная газета, и были люди, которые покупали очередной номер только для того, чтобы узнать — кто же все-таки убийца.

Коровин пробовал однажды почитать Петрушкина (полковник подарил ему свою книжку, изданную большим тиражом в издательстве «Эксмо» — в яркой, с золотым тиснением, обложке, но на очень плохой, тонкой серой бумаге). На пятой странице Юрий Алексеевич понял, что бестселлер Петрушкина не одолеет никогда — в одном предложении полковник умудрялся пять раз употребить местоимение «свой».

«Алексей поднял свою руку...» Вроде бы речь шла не о найденном трупе. Так чью же руку должен поднимать Алексей? Открыл свой рот и положил в него своей ложкой свой кусок картошки, смазанный своим маслом...

Какая-то жуть! На фоне Петрушкина Вероника казалась не меньше чем Ахматовой.

Она возвратилась минут через сорок. На платье был напаян коричневый свитер грубой вязки, который ей одолжила уборщица.

Бушуева тихонько села на стул в последнем ряду. Проголосовавшие писатели курили на первом этаже, а счетная комиссия в кабинете председателя правления деловито подсчитывала голоса.

Собрание было легитимным — из тридцати девяти членов организации присутствовало двадцать девять человек. Для рекомендации Бушуевой нужно было набрать двадцать семь голосов. Но Веронике хронически не везло. На этот раз шесть человек проголосовали против. Петрушкин не прошел тоже, хотя его не поддержало всего три писателя.

Когда Корнев с мрачным видом огласил результаты голосования, Бушуева тихо встала и медленно, цепляясь за стенку, вышла из зала.

— Надо бы ее проводить, товарищи, — сказал Корнев. — Как бы чего не вышло...

— Да что вы, Михал Ваныч! — закричал психотерапевт. — Никогда в жизни! Она еще на наших с вами могилах будет стихи читать!

Совсем иначе повел себя Петрушкин. Суровый и надменный в следственном изоляторе, в писательской организации он тушевался, как красная девица. Присутствующие в зале казались ему если не Достоевскими и Толстыми, то по меньшей мере Пикулями и Ефремовыми.

Он попросил слова и медленно вышел к трибуне.

— Я хочу поблагодарить организацию за внимание ко мне и отличные результаты голосования, — проговорил он красивым, бархатным, чуть ли не оперным баритоном. — Да-да, я не оговорился. Эти результаты я считаю своим большим достижением! Всем спасибо, а особенно тем троим, кто голосовал против меня. Действительно, я, наверное, еще не готов к вступлению в ваш Союз. Мне надо работать, много работать. А к работе я привык. Как у нас в органах говорят — виноват, исправлюсь!

— Другие просто испугались, что ты их вычислишь и срок пришьешь! — пошутил Корнев, чтобы как-то сгладить обстановку.

— Обязательно вычислю по цвету пасты. Это элементарно делается, — серьезно ответил Петрушкин. — Я начинал как криминалист-почерковед. Надо же мне знать, у кого учиться теперь, чьи книги перечитывать!

В раздевалке полковник пожал руку Коровину.

— Спасибо вам, Юрий Алексеевич, за поддержку.

— А откуда вы знаете, что я за вас голосовал? — спросил Коровин.

— А я психолог. Не хуже вашего психотерапевта. В нашей работе следственной без этого никак... Он, конечно, доктор хороший... Но я бы так не стал. Выгнать женщину, при всех! Ее-то как раз надо было поддержать. Я бы ей с удовольствием свои голоса отдал.

— Вы с ней не конкуренты. У вас жанры разные.

— Не в этом дело. Я писанину люблю так же, как рыбалку или машину свою старенькую. Но, что греха таить, как-нибудь проживу и без рыбалки, и без «Нивы» своей, и без детективов. А для Вероники стихи — смысл жизни! Ведь у нее ничего больше в жизни нет. А вас она всех теперь ненавидит!

Коровин хотел тогда позвонить Веронике, ободрить ее. Но не позвонил из-за какого-то странного чувства. Он хорошо понимал, что вся забота о таких людях, как Вероника — пустое дело, что она никогда не ответит добром на добро только по той причине, что никого не видит кроме себя и ничего знать не хочет, кроме своих — пусть даже хороших, пусть даже талантливых! — стихов.

Жизнь Вероники не была легкой. Однако и криминальные ужасы русского постсоциализма совсем не коснулись одинокой женщины, прошли мимо нее. Вероника, как большинство людей, искренне считала, что наступить на русскую мину мог кто угодно, но только не она, не Вероника Леонидовна Бушуева — только лишь потому, что она такая интеллигентная, чистая, возвышенная и благородная.

С самого детства заметил Коровин у себя одну особенность — часто воспоминания о людях связывались у него с какими-то природными деталями. Так вот и сейчас воспоминания о Саше Елисееве нахлынули на него, когда он смотрел на кривой, неотесанный сосновый пень.

Саша был полной противоположностью Веронике. Он родился в семье, где в руках держали все, кроме книги. Отец был мастером-краснодеревщиком, мать

трудилась на авиационном заводе. Александр тоже пошел работать на «двадцать первый», как все называли этот завод в закрытом городе.

Откуда же взялась у малообразованного, неотесанного парня такая страсть к поэзии?

Никто этого понять не мог. Бедный Саша не только окружающим, но и сам себе казался белой вороной. Но ничего не мог с собой поделать.

Конечно, он вовсе не сидел ночами за письменным столом. Ночью Саша часто вообще не спал. И не то чтобы строчки поэтические набегали на него, как волны на морской берег. Не спал оттого, что ощущал необычность, штучность, яркую неповторимость своей судьбы.

В школе он еще не писал стихов, но часто застывал, глядя на ленивые облака и раскидистые деревья. Казалось ему, что несут эти облака некую несказанную тайну, не раскрывающуюся при помощи слов.

Ему сильно повезло (или не повезло?), что руководитель областного литературного объединения, член Союза писателей Владимир Семенович Васькин признал в нем родственную душу.

«Родственная душа» — очень сложное словосочетание. Если его перевести на языки чужеземные, иноплеменные, то всегда получится нечто другое, не совсем русское. Так уж произошло в нашей жизни, что феномен «родственной души» сыграл среди непроходимых русских снегов и причудливых умопомрачительных наледей совершенно особенную, судьбоносную роль.

Сколько бы ни был наш русский человек умен, талантлив, работоспособен, каких бы блестящих успехов не достиг на стезе профессиональной, все его достижения мгновенно обращаются у нас в ничто без феномена «родственной души».

Именно там, в обшарпанной комнате Дома работников просвещения, возле облупленной светло-коричневой доски с масляным изображением нотного стана и скрипичного ключа (в этой комнате дети постигали нотную грамоту), где проходили еженедельные заседания литературного объединения «Золотое перо», произошло узнавание. Рыбак узнал рыбака, а бывший рабочий сормовского завода узнал своего брата-рабочего с завода авиационного.

Тексты вьюноши Александра так напоминали рифмовки самого Васькина сорокалетней давности, что мудрый наставник чуть не прослезился и срочно послал одного из своих клеветников в ближайший магазин за бутылкой «Волжского».

К чести Васькина стоит отнести, что он, вопреки расхожему мнению, не всегда находился в состоянии алкогольной эйфории или, наоборот, депрессивной слезливости и обладал, как ни странно, весьма трезвым и даже аналитическим умом, в большинстве случаев не присущим поэтам. Когда он обнаружил в рабочем пареньке, заглянувшем на тусклый огонек в ДК, не просто способности, а настоящий поэтический талант, то начал бескорыстно помогать ему и направлять на путь истинный.

Васькин уже миновал тот этап своего развития, когда чужие успехи вызывали у него легкую зависть и неприязнь. Возможно, в то время он уже чувствовал ледяной ветер, дующий из могилы, в которую ему суждено было лечь уже скоро.

Он написал Саше рекомендацию в Литинститут на бланке областной писательской организации, поставил все необходимые подписи и печати, и никакая тонкая и изощренная поэтическая интуиция не подсказала ему в тот момент, что этими печатями и подписями он загубил хорошего и совестливого парня.

Учеба в Москве была самым светлым периодом в жизни Елисеева. Дух захватывало от специфического запаха московского метрополитена, от величественной Красной площади с розовоцекиными солдатами кремлевской роты, от романтических бульваров со сквериками посередине, от старинных кривых арбатских переулков. В небольшой блинной на улице Герцена, рядом с консерваторией и напротив церкви Вознесения Господня, построенной еще при Иване Грозном, ча-

сто собирался их сменить после обсуждения чьих-либо стихов. Унылые буфетчицы давно уже смирились с лихими поэтическими набегами, а когда приехавшая из Тамбова поэтесса Стелла Кобылкина, несмотря на отсутствие московской прописки, сумела-таки устроиться в блинную посудомойкой, наливали творческой братии за бесплатно лишний граненый стакан бледного, как русское небо, чаю, а иногда даже и с сахарным песком на дне. Не секрет, что в советские времена люди были чуточку добрей и душевнее.

Там-то, сидя за круглым столиком, Саша однажды очень глубоко ощутил свою исключительность, почувствовал необычность, неповторимость своей судьбы, неслучайность всего того, что происходило с ним.

Вся дальнейшая жизнь представлялась ему восхождением на высокую гору, и впереди, на вершине этой горы, ослепительно сверкали снежные россыпи.

Почему же все это оказалось обманом, иллюзией? Почему интуиция оказалась сродни рыночной цыганке с попугаем, вытаскивающим из рваной картонной коробки исключительные по своей глупости записочки?

Вернувшись из Москвы, Елисеев уже не мог работать на заводе. Какой такой завод! Ведь он вернулся из Москвы с дипломом, с приятно пахнущей клеем синей книжечкой, где красивым каллиграфическим почерком черным по белому (а точнее, по желтому) была обозначена специальность Елисеева Александра Константиновича — «литературное творчество».

Сначала Саша был немного удивлен тем, что вышеупомянутая книжечка, мягко говоря, никого в родных пенатах не потрясла. Одно время он обивал пороги местной писательской организации, просил дать ему какое-нибудь околослитературное занятие. Но Васькин к тому времени уже ушел из жизни, а других покровителей среди местных письменников у Саши не нашлось.

В конце концов, устроился писатель в заводскую многотиражку, но работать там не смог. Его сильно раздражало то, что писать он должен не стихи, а очерки об ударниках коммунистического труда.

Коровин не верил в то, что Елисеева погубила богомная литинститутская среда, о чем вещали провинциальные графоманы. Выпивать он начал задолго до своего судьбоносного появления на обшарпанном пороге «Золотого пера», еще на длинных школьных переменах.

От рабочей среды он оторвался бесповоротно, а к интеллигентскому племени так и не пристал. Интеллигенты с их почитанием книг были ему чужды, всякая научность претила ему, как сухая корка хлеба, найденная под столом.

«Суша теория, мой друг»... Эти слова недаром были вложены гениальным поэтом в уста черта! Дьявол всегда искушал людей, отвращал их от чистого знания, разворачивал в сторону плотских утех.

Чем больше думал Коровин о Елисееве, тем больше убеждался в своем сходстве с этим человеком. И действительно. Несмотря на всю их разность, их объединяло общее. Этим общим было то, что и Коровин, и Елисеев умели в жизни хорошо делать только одно дело — писать стихи.

Почему же так произошло, что стихи Коровина охотно вставляли в тематические планы многие издательства, а Елисеева никто, кроме покойного Васькина, в лоб видеть не хотел? Коровин был достаточно умен для того, чтобы не посчитать это признаком своего особого дарования. Елисеев был талантливее и самобытнее его, но он был чужим для провинциальных интеллигентов. Они могли бы его принять в Союз, но никогда не приняли бы в свое сообщество.

Парящий между небом и землей, несчастный стихотворец погибал — без службы, без семьи, без регулярной работы над строчкой, без той самой изнурительной работы, которая одна подчас и спасает человека творческого от безумия и самоубийства.

Погиб он самым нелепым образом — упал, будучи пьяным, и ударился затылком о заточенную арматуру. Долго потом выясняли судебные медики, кто это так заточил железный брус, торчащий из бетонной плиты забора. Но, так или иначе, а колотое ранение мозга оказалось для поэта смертельным.

Вся жизнь не что иное, как причудливая сеть случайностей, как длинная цепочка ДНК, где выстроены, как нуклеотиды, бесконечные причины и следствия. Сейчас Коровин подумал о том, мог ли Саша Елисеев удариться головой об эту арматуру, если б он не поступил в литинститут, если б не стал писателем? Теоретически, наверное, мог. Но только теоретически. Вся его нелепая смерть была типичной смертью русского писателя, и даже не русского писателя вообще, а того вечного типа этого писателя, к которому принадлежал Александр Константинович.

Жизнь другого Александра, Белуцкого, была чем-то похожа на жизнь несчастного Елисеева.

Белуцкий принадлежал к тому кругу людей, которых мы, люди русские, не всегда заслуженно и чуть презрительно именуем «либералами». По своему рождению, происхождению и умонастроению Александр Вениаминович был самым настоящим либералом. Но это вовсе не означает, что его жизнь была проще жизни тех людей, которые работают на заводе или в поле. Бог дал Белуцкому поэтический талант, а взамен, как часто и бывает, забрал все остальное.

Настоящие, природные поэты всегда чуть-чуть замаскированы в чуждом им обществе и, как правило, занимаются в жизни делом, очень далеким от поэзии. Белуцкий был радиофизиком, работал в прославленном институте Академии наук, защитил кандидатскую по полупроводникам. Как ученый он был не менее талантлив, чем как поэт, и вообще казался со стороны человеком весьма положительным, далеким от творческой богемы.

Была у Саши Белуцкого некая загадка, нечто такое, что отличало его от многих людей. Отношение к поэзии у него было своеобразное. С одной стороны, Саша очень уважительно относился к своему дарованию, серьезно работал над стихами. С другой стороны, обращало на себя внимание его полное равнодушие к судьбе своих стихов после их написания. Белуцкий был одним из тех редких поэтов, которые, начав писать чуть ли не в пятнадцать лет, к сорока еще не имеют своей книжки.

В советский формат он никак не уложился. Возможно, фамилия подкачала. Когда же начались реформы либеральные, Саша показал к ним полное безразличие. Он вообще, как большинство книжных людей, был равнодушен к общественным тенденциям.

Когда после выступлений его просили показать свои книжки, Саша виновато улыбался. Никто из слушателей и представить себе не мог, что никаких книжек у него от роду не бывало.

Теперь он живет в Нюрнберге, работает на радиофизическом предприятии в должности скромного лаборанта и, как известно Коровину, в те часы, когда не держит в руках паяльник, продолжает писать яркие, самобытные стихи.

Самое смешное и самое грустное в этой истории заключается в том, что еврей Белуцкий, проживающий в Германии, в настоящее время один из самых сильных поэтов, пишущих на русском языке. Знает об этом, однако, не более ста человек, все из которых, за редким исключением, профессиональные писатели.

«Поэт, не дорожи любовью народной», — писал наш национальный гений. Пожалуй, мало кто в мире так не дорожил народной любовью, как Саша Белуцкий, и Коровин уважал его за это.

Прямой его противоположностью был Олег Кузин.

Кузин не просто вышел из либеральной среды, он был либералом до мозга кос-

тей. Диссидентство представляло не только образ его мыслей, оно было сутью этого человека.

Жизнь поэта Кузина была постоянным противоборством, постоянным противопоставлением себя «системе». Само слово «система» в языке Кузина было высокочастотным, и подразумевал поэт-политик под этим словом некие государственные идеологические структуры (партию, комсомол, КГБ), якобы мешающие писать.

«Система» была для него чем-то вроде фантастического врага. Местом для чтения стихов сначала была кухня — к счастью, не коммунальная, поскольку отец Олега, Кузин-старший, был парторгом того самого завода, где начинал свою трудовую биографию вышеупомянутый Саша Елисеев.

Кстати, старший Кузин был тоже диссидентом, но диссидентом внутренним, из тех, кто держит фигу в кармане. В этом заключалось какое-то тайное сладострастие — днем в парткоме говорить одно, а вечером, на кухне, совсем другое.

Если бы Олег с юношеских лет мог писать все, что было ему угодно, то он, скорей всего, вообще никогда не стал бы заниматься этим тяжелым и малоперспективным делом. Ведь заниматься творчеством по-настоящему может только тот, кто видит в этом занятии смысл всей своей жизни и не рассчитывает на внешний успех. Судьба сыграла с ним злую шутку — в какой-то момент своего развития и становления он посчитал, что кухонные пустые разговоры и литература — нечто похожее, и не нашлось рядом человека умного и просвещенного, который объяснил бы ему, что это не совсем так.

В студенческие годы Кузин (а он учился по соседству с Коровиным, на историческом отделении) очень хотел подружиться с Юрой, но амбициозные кухонные мальчишки Коровину не понравились.

Олег Кузин, несомненно, был человеком талантливым, но талант его был явно не литературным. Это был человек выраженного общественного темперамента. В годы перестройки он возглавил литературно-политический клуб, где преобладали рифмачи-сатирики, приглашал из Москвы мэтров либерального лагеря и вообще активничал без меры.

Когда началась эпоха безвременья, Кузин резко перестал писать. «Система» умерла, бороться стало не с кем, и версификаторство потеряло всякий смысл.

Кузин, однако, продолжал активничать, пытался скорешиться с молодым, кудрявым и чересчур либеральным губернатором, и даже какое-то время был его советником по культуре. Вряд ли он успел что-то ему посоветовать, поскольку губернатор культурой не интересовался.

К своему пятидесятилетию бывший поэт и диссидент издал красивую книжку стихов — разумеется, на спонсорские деньги, и устроил презентацию в одном из элитарных клубов города.

Постаревший и осунувшийся, он твердил Коровину о том, что их поколение не смогло выстроить правильную раскрутку своих произведений, и приводил в пример нескольких бойких молодых прозаиков, умеющих неплохо жить литературным трудом.

При слове «раскрутка» Коровин представлял почему-то большую медную юлу с деформированной деревянной ручкой, которую он гонял по грязному ковру коммунальной комнаты, где жил в детстве вместе с родителями.

Глядя на пожелтевшие и морщинистые скулы Кузина, казавшиеся такими болезненными при искусственном свете ресторанных фонарей, Коровин почему-то вспомнил, что отец Олега был бурят по происхождению.

— Ну что, доволен ты своей демократией? — спросил он его тогда.

Это был классический вопрос русской литературы — вопрос, не требующий ответа.

Почему-то Кузину ему не ответил.

В дальнейшем, вспоминая весь этот разговор, Коровин думал о том, что Олег — не меньшая жертва этого строя, чем он сам. Реформаторы вроде бы позволили Кузину говорить о том, что он думает и, странное дело! — он перестал говорить вообще.

Его свежие, изданные на мелованной бумаге, книжки сиротливо лежали на стойке бара.

Олег вышел к стойке, взял заранее приготовленный микрофон и, надев очки, стал читать стихи из книжки.

Больше всего Коровин запомнил тогда эти очки. Наверное, потому, что никогда не видел Кузина в очках.

Тогда, в этих очках, рифмующий либерал вдруг стал символом прошедшей зря жизни.

5

Ну, а его жизнь? На каком основании он, писатель Коровин, мог утверждать, что его жизнь чем-то лучше, правильнее, удачнее, чем жизнь этого несчастного Кузина?

Здесь, на Тумином озере, он смотрел на свою прошлую жизнь совсем иначе, и многое в той жизни казалось ему совершенно незначительным, сиюминутным, а подчас даже недостойным человека.

Недостойным казалось почти все, что окружало его в той жизни, и очень много мелких деталей этой жизни, теперь уже почти забывшихся, всплывали в его памяти почти ежечасно, и все это были какие-то стыдные, неприятные детали.

Почти все, что касалось общения с людьми, было омрачено ложью, желанием понравиться, перенесением интереса с того или иного предмета или занятия на то, как этот предмет или это занятие понравятся другому человеку. Все, что касалось общения с людьми, было лишено того самого естества, которое осознал и обрел он здесь, на Тумином озере.

Именно здесь он и почувствовал ту самоценность творчества, о которой говорил еще в греческих портиках и которая теперь для многих стала чем-то совершенно непонятным, странным, поскольку не имела денежного эквивалента. Ту самоценность, которая не опирается ни на чье мнение и которая существует независимо от чьих-то напечатанных или не напечатанных слов.

«Нам не дано предугадать», — постоянно вертелось в голове у него, и он понимал, что было бы слишком просто жить на свете, если б наше слово обязательно должно было чем-то или как-то отозваться.

КАНТИАНКА

Чем старше становилась Нина Ивановна, тем сильнее тяготилась она глубоким, беспробудным чувством одиночества. За последнее время это более чем просто знакомое чувство мутной и тяжелой волной накатывало на нее все чаще и чаще, все наглее и бесповоротнее, и все тоскливее, бездоннее, все сиротливее и неприютнее становилось у нее на душе. На работе это, однако, случалось гораздо реже, что было вполне понятно и закономерно — на такой тяжелой, сумасшедшей работе некогда в себе копаться. Каждый день проверки — то санэпидстанция, то пожарники, то налоговая инспекция. Работала Нина Ивановна заведующей производством крупного кафе. Вставать приходилось в пять утра, и одно только обстоятельство слегка облегчало жизнь — кафе находилось неподалеку, в пределах пе-

шехидной доступности. Присохла она из дружной, многодетной и правильной деревенской семьи. К тому времени, как от ее родной деревушки Ушаково остались только гнилые избы да серые кривые покосившиеся штакетники, почти все братья ее и сестры перебрались в областной город, и лишь одна старшая сестра, инвалидка, больная тяжелой формой полиартрита, навсегда осела в унылом районном центре, превратившимся к тому времени в убогое, залюбленное ветрами, безликое пространство, усеянное серыми пятиэтажками.

Личная жизнь у Нины с самого начала не заладилась. С первым мужем — толковым, хозяйственным, здоровым и работающим, — разлучила ее свекруха, несуетная стерва и пакостница, развела грубо, бесповоротно, по-хамски как-то разлучила, как только разузнала у болтливой врачихи из консультации, что Нина никогда не сможет родить ребенка. Второй муж был скандалист и пьяница, с ним она не прожила и года. А в дальнейшем стали ей попадаться мужчины настолько никудышные, настолько ничтожные и недоделанные, настолько никем не востребованные, что даже страшно ей подчас становилось оттого, насколько обмельчал род человеческий.

Давно уже не ждала Нина Ивановна ничего особенно значимого с этой стороны, и ничего яркого в мужчинах давно уже видеть не желала. Наверное, потому, что и сама была не особенно ярка, да и возраст давал о себе знать — к пятидесяти годам подходило. Вся громада ее прошлой, деревенской, трудовой, двуужильной и многожильной жизни, пропахшей запахами хлева, курятника, черной бани и огорода, все обилие тактильных ощущений от стирки, посадки, прополки, всей массы ощущений деревенской, утробной, нутряной жизни вопили о том, что нельзя нарушать привычный уклад существования. Нельзя только переставлять кастрюли и почти бессознательно, механически воровать из кафе продукты, которые невозможно съесть одной, в четырех онемевших стенах пустынной квартиры, изнемогающей от гробовой тишины. Нельзя проводить все вечера своей одинокой жизни возле сирого, тусклого экрана с мелькающими на нем тенями людей-марионеток. Ей непременно хотелось ждать кого-то с работы или самой спешить быстрее домой, чтобы кого-то накормить и обрадовать своими незаемными, теплыми словами. Ни о какой любви Нина Ивановна давно не мечтала, поскольку была реалисткой и глубоко презирала всякие книжонки, в которых благополучные, сытые дяденьки в красивых костюмах и при галстуках, а также жирные целлюлитные бабищи, дамские писателки, невнятно лопочут о придуманной ими любви. Но на человеческое тепло с чьей-то стороны продолжала рассчитывать, поскольку была, как мы уже указывали, реалисткой, и, общаясь с родственниками, братьями и сестрами, а также с коллегами по работе, знала достоверно, что тепло это в природе существует.

Предновогодние дни в этом декабре ознаменовались небывалой для русской зимы оттепелью. После обильного снегопада потеплело аж до семи градусов, из грязи вылезли первые подснежники и как-то виновато, застенчиво зацвела верба. Микрорайон, в котором жила Нина Ивановна, весь оказался в талой воде. Люди прыгали с кирпича на кирпич, с кривой полусгнившей доски на гнилой овощной ящик, с половинки кирпича на кусок разбитого асфальта, чтобы добраться до своего подъезда. Она пришла с работы с мокрыми ногами, но не успела снять сапоги и положить на батарею мокрые чуть ли не до колен колготки, как в дверь позвонили. Звонок был долгий, настойчивый, непреклонный. На пороге стоял сосед, преподаватель мединститута Эдуард Явдатович, в обществе неизвестного, пожилого и вполне интеллигентного мужчины.

— Извините, что не предупредил. Оказия вышла. Хочу познакомить с моим давним другом.

— Вячеслав Витальевич, — проговорил незнакомец, протягивая большую, белую, теплую и слегка мокрую ладонь.

Этот визит не был для Нины полной неожиданностью. Жена Эдуарда Явдатовича уже дважды знакомила ее с мужчинами — к сожалению, безрезультатно. Но сегодня она гостей явно не ждала.

— Что же это вы без звонка. Я бы хоть оделась прилично.

— Не важно, совсем не важно, — парировал Вячеслав Витальевич. — Форма для меня не так важна, как содержание. Примат формы — типичное явление для наших дней. И это печально.

Нина Ивановна не совсем поняла, что имеет в виду гость. Она почему-то вспомнила учебник биологии и решила, что «примат» — то ли обезьяна, то ли группа обезьян. О какой такой обезьяне говорил Вячеслав Витальевич?

— У меня и еды-то нет никакой, чтобы стол накрыть, — начала было Нина.

— А вот этому я не верю, — сказал Эдик. — Завпроизводством столовой... и без еды! Это все равно, что сапожник без сапог!

— Проблема веры для нас ключевая, — добавил Вячеслав Витальевич. — Если бы Бога не было, его обязательно бы придумали.

Эта фраза показалась Нине интересной. Сама она не то чтобы сильно верила в Бога, но постоянно ходила в церковь, ставила свечки, причащалась и обязательно отмечала Пасху и Рождество, поскольку именно эти и только эти православные праздники отмечали в ее семье. Забавным и интересным показался ей Вячеслав Витальевич. Был он человек ученый, доцент с той самой кафедры, на которой работал всю жизнь Эдуард Явдатович. Узнала она, что уже четыре года как Вячеслав Витальевич на кафедре почти не работает, а сидит в районной поликлинике, совсем недалеко от ее дома, и занимается иглоукалыванием, мануальной терапией, а также черной и белой магией.

— Вы кто по календарю друидов? Ясень? — спросил он без особых предисловий и быстро объяснил, что как только узнает, к какому дереву относится тот или иной человек по календарю друидов, то все его заболевания начинает лечить путем физической близости с этим деревом. — Надо каждый день по полчаса обниматься с яснем, и тогда раковые клетки сами по себе отмирают, поскольку активизируются некоторые духовные каналы.

Оказалось, что Вячеслав Витальевич — народный целитель России, и спас от смерти многих людей. Однако оставалось только сожалеть, что свое предназначение он ощутил так поздно, в пятьдесят пять лет, что все лучшие годы жизни провел на кафедре фармакологии, заставляя студентов зубрить дозировки лекарственных средств, те самые дозировки, которые есть во всех справочниках.

— Да-да, Нина Ивановна, — продолжал он, когда она уже, надев фартук, чистила картошку. — Поздно, очень поздно! Но это все благодаря демократу нашему, великому Ебээн!

— Кому, кому? — спросила Нина Ивановна.

В словах Вячеслава Витальевича ей почудилась родная и знакомая матерная брань, но никак эти слова, так часто произносимые поварами и грузчиками в кафе, не вязались к интеллигентному доктору.

— Ебээн... Это аббревиатура такая. Ельцин Борис Николаевич! Первый президент свободной России! Наш кумир, наш избавитель от вечного прозябания, враг всех совков и коммуняк. Ведь он что нам сказал: «Тащите, понимаешь, суверенитета сколько можете». И я взял его. Я независим.

— В том числе и от собственной совести, — сказал Эдуард Явдатович.

— А вот это вопрос открытый. Можем ли мы говорить о независимости от совести, если никто из нас никогда эту совесть в глаза не видел?

— Как это не видел? — произнесла Нина Ивановна. — А разве совесть видеть надо? Ее надо чувствовать. Как жить без совести-то?

— Вот в этом-то и заключаются, уважаемая Нина Ивановна, все ваши совко-

вые комплексы, — продолжал Вячеслав Витальевич. — Совесть эту надо в детстве вырезать, как больные гланды, и никогда не вспоминать о ней больше. Вот тогда из вас еще что-нибудь и может получиться в свободном, демократическом обществе.

— Вы, стало быть, совсем неверующий, раз так о совести говорите.

— Да вы что! — чуть ли не закричал Вячеслав Витальевич, положив на пухлую коленку Нины Ивановны свою большую, влажную, белую ладонь. — Я православный. Надеюсь, пихты у вас в квартире нет?

— Не знаю... А почему Вас именно пихта интересует?

— Я потому, что если вы Ясень, то пихта вам крайне противопоказана. Это ваш враг. Она отнимает все ваши витальные силы, сосет жизненные соки, вызывает гастрит, язву желудка, способствует образованию камней в желчном пузыре и приводит к полному истощению организма. Если ваши шкафы из пихты — выкидывайте шкафы! Если из пихты кровать — разрубите ее топором!

Гость говорил так ярко, так темпераментно и в то же время так весело, что Нина Ивановна была просто очарована напряженным журчанием его речи. Это очарование было настолько велико, что она даже не заметила, как исчез Эдуард Явдатович — казалось, только еще несколько секунд назад сидел на табуретке, опершись спиной о кухонный столик — и вот уже нет его, нет...

Вячеслав Витальевич много рассказывал о своей жизни, о работе психиатром в лесной больнице для психохроников, где однажды чуть не был задушен буйным шизофреником, после чего ретировался бесповоротно из практической медицины и бороздил нивы науки фундаментальной и высшего медицинского образования. Рассказывал и о своих родственниках, довольно-таки подробно и как-то грязно, но его слова не только не насторожили Нину Ивановну, но даже заинтересовали ее. Необычное, когда оно романтично и загадочно, часто притягивает. И даже легкая картавость Вячеслава Витальевича понравилась ей, и его странные, непонятные, книжные слова. Если бы кто-нибудь другой произносил все эти фразы, то совсем, совсем другое впечатление они произвели бы на Нину, но это был человек образованный и, конечно же, не пьяница и не бездельник. Он ушел, взяв номер ее телефона.

Два следующих вечера Нина Ивановна напряженно прислушивалась к звенящей тишине дома. На третий вечер раздался звонок. Звонила жена Эдуарда Явдатовича. Она интересовалась, понравился ли Нине Вячеслав Витальевич, приходил ли он с тех пор.

— Нет, он больше у меня не появлялся, — ответила Нина Ивановна и положила трубку.

А через две минуты, как часто бывает, и позвонил наш герой. Пришел он минут через сорок, и совсем уже другой, не похожий на первого Вячеслава Витальевича. В этом-то как раз и заключался парадокс этого человека — каждый раз к ней приходил кто-то новый, настолько новый, что облик старого знакомого сам по себе забывался. Даже его не меняющиеся антропометрические данные (рост, вес, форма ушей и носа, тембр голоса) не составляли стержень этой неуловимой, динамично меняющейся личности. Если Эдуард Явдатович привел к ней философствующего интеллигента, то теперь это был некий рубаха-парень, простой, как сатиновые трусы. За весь вечер он не произнес ни одного мудреного, непонятного Нине слова. У нее даже слезы на глаза набежали, а в горле застрял комок (а может быть, она просто подавилась гречневой кашей), и в груди приятно защемило, а в голове замелькало, как мелькает лампочка перед тем, как навсегда потухнуть: «Где ты раньше-то был, парень?» Эта вторая встреча была самой приятной и самой запоминающейся для Нины Ивановны. Именно в этот вечер они перешли на «ты».

Вячеслав Витальевич был удивительно прост в общении и невероятно располагал к себе людей. По-видимому, он и доктор был хороший. Через месяц он уже переселился к ней. Где он обитал до этого, Нина даже и не знала точно. Вячеслав Витальевич однажды только обмолвился, что жил гражданским браком с какой-то женщиной, но брак этот, по-видимому, был неудачным. Артамонов (а такова была фамилия нашего героя) каждый день изумлял Нину Ивановну чем-то новым. Иногда он мог даже все поставить на голову, и это ее очень впечатляло. Знал он много, и всегда использовал свои знания так, что другим становилось немного не по себе. Однажды, когда Нина чистила картошку, он усомнился в том, что картофельные очистки лежат перед ним на столе. Оказалось, что жил раньше в Германии такой философ с короткой фамилией Кант. Вот этот самый Кант и объявил однажды, что окружающего нас мира вовсе нет. Стало быть, ни картофельных очистков, ни самой картошки в природе нет. И Артамонова нет. Нет мира, а есть только предмет наших ощущений.

Нине сначала показалось, что Вячеслав Витальевич какой-то бред несет. Но вдруг, совершенно внезапно, ей стала понятна мысль этого немца. Мысль-то, оказывается, не такая уж и мудреная. Действительно, где гарантия, что этот самый доктор сейчас у нее живет? Может быть, ей только все это кажется? Ведь то, что она видит его и слышит его голос, вовсе еще не значит, что он существует.

— Екарный бабай, Славка... — протянула она. — А ведь прав, прав этот самый Кант (при этом она почему-то представила цветную полосочку по краям картинки, называемую кантом). Только кант, наверное, и есть в нашей жизни, а самой картинки, наверное, и не существует. С этого дня никак не вылезал у нее из головы загадочный немец. На работе она часто застывала, глядя на накладные и на доньшки вымытых и выскобленных кастрюль.

— Ты, Нинка, влюбилась что ль? — спрашивала ее пожилая уборщица тетя Тамара.

— Влюбилась, тетя Том, именно влюбилась.

— И в кого же это?

— Да так, в немца одного. — Вот оно как... Раньше за такую любовь и посадить могли. А теперь — пожалуйста. Все к нам открыто ездют. И немцы, и умцы, и всякие черные. Вот именно!

Больше ничего не удалось узнать любопытной уборщице. А Кант то и дело напоминал о себе. И кусочек сахара во рту не таким уж сладким казался, и искристое шампанское не щипало кончик языка так упоительно, как раньше, и даже предновогодние, елочно-мандаринные запахи перестали волновать так, как волновали в детстве. Кто знает, может, этого всего и нет вовсе?

Конечно, Нина не стала кантианкой, не поверила в этот философский бред. Но что-то надломилось в ней. Возможно, прилетевший из Восточной Пруссии Кант, превратившись в картавого грача, сел на уже до того надломленную ветку, и она не сдержала его педантичного немецкого тела, хрустнула и обломилась.

А вот одиночество, как с ним быть? Что с ним делать? И есть ли оно вообще, это одиночество? А если нет его, то, может быть, и не стоило приглашать к себе Вячеслава Витальевича? Как этот чудесный доктор может избавить ее от того, чего в действительности нет? А если нет и Вячеслава Витальевича, тогда вообще получается неразбериха. А точнее всего, и неразберихи нет, ведь ей только эта неразбериха кажется. Подчас кантианские представления полностью покидали Нину Ивановну, и тогда она возвращалась к обычной жизни. Но и в моменты своих размышлений она продолжала жить заранее заведенной бытовой жизнью — мыла полы, стирала белье, готовила еду (а еда в ее жизни занимала особое, привилегированное положение). Это особое, почетное место, которое занимала в жизни Нины Ивановны еда, в частности, было связано с ее профессией. В ее доме всегда было

много продуктов, и эта еда, особенно еда редкая, дефицитная, давно уже превратилась в некую валюту, которая шла в обмен на товары промышленные, непищевые, в равной степени дефицитные — обувь, светильники, шкафы-стенки, лекарственные препараты. А поскольку еды было настолько много, что она полностью покрывала необходимый товарообмен, то приходилось ее использовать по прямому назначению. Именно наличие этих продуктов, а точнее, их количественные и качественные характеристики, как сказал бы вышеупомянутый Кант, настолько привлекло Вячеслава Витальевича, что он очень быстро убежал от своей сожительницы, женщины с упрямым и властным характером. Убежал, согласно мудрости предыдущего поколения, больше чем наполовину прошедшего через лагерь — «подальше от начальства и поближе к кухне». Сама же Нина Ивановна и представить себе не могла, что чудесного доктора, как хищного зверя, вел по жизни всего лишь, как говорят биологи, «поиск нутриента». Пищевой инстинкт оказался самым сильным, самым выраженным, куда более сильным, чем обычное половое влечение. Возможно, это произошло, потому что в кулинарии Нина Ивановна не была стереотипна и предлагала чудесному доктору самые разнообразные блюда. А в сфере любовного межполового и межличностного взаимодействия могла она, естественно, предложить только себя, не понимая, что целлюлитные живот, бедра и задница не слишком востребованы даже стариками. Когда она клала свинцовую от тяжести ладонь на грудь Вячеславу Витальевичу, то он часто думал, что ему пришел конец, поскольку снять эту ладонь со своего тела был не в состоянии. На водружение вышеупомянутой ладони оставалась безответной не только грудная клетка, внутри которой билось сердце народного целителя, но и все его другие органы. Поэтому решила Нина Ивановна, что проживающий на ее территории россиянин (а именно так выражался кумир Вячеслава Витальевича, первый русский президент Ебээн) к любовным чувствам и проявлениям таковых совершенно равнодушен.

Нет, Нина Ивановна была совсем не глупой. Как большинство деревенских женщин, она была внимательной к деталям, очень расторопна в быту, и психологом была не самым плохим. Но в этой сфере проявила она некое непонимание, не осознав, что именно ее туша (именно туша, а не душа!) и явилась, по сути, барьером для зарождения в душе Вячеслава Витальевича нежной страсти.

Наша героиня, конечно, расстраивалась, что приходится ей по-прежнему удовлетворять себя в ванной, посредством сильной струи воды, но она прекрасно понимала, что нельзя требовать от жизни всего и сразу. Она осознавала, что одно появление в ее квартире живого и разговорчивого человека уже значит очень многое. Поначалу она решила, что Вячеслав Витальевич уже потерял всякий интерес к женщинам, но дальнейшие события заставили ее в этом усомниться. В одно серое осеннее утро она проснулась с тупой болью в низу живота. Приняла знакомую и пожелтевшую от времени таблетку, после чего боль несколько утихла, но на работе разгорелась вновь. Нина даже хотела вызвать скорую помощь, но передумала и после обеда сразу ушла домой. Дома она застала Славика в обществе худощавой светловолосой дамы средних лет, которая сильно испугалась, увидев Нину.

— Это Оксана Викторовна, моя пациентка, — представил даму Вячеслав Витальевич. — Мы с ней не виделись пять лет. А сегодня случайно встретились в магазине. Как-то ты рановато сегодня...

— Очень приятно, — сказала тощая пациентка, и Нина Ивановна сморщилась от отвращения, поскольку видела, что в этот момент Оксане Викторовне было неловко и неудобно, но никак уж не приятно.

Что бы там ни говорили наши моралисты, а физическая боль куда сильнее боли моральной, и Нина Ивановна в этот момент ушла в комнату, легла на кушетку, прижала колени к животу. Костлявая дама тем временем на цыпочках вышла

из кухни, сбросила тапочки Нины Ивановны, поправила колготки, напялила на себя красный помятый плащик, сделала Вячеславу Витальевичу в дверях недовольную гримаску, некрасиво обнажив золотые коронки на передних резцах, и ушла. Доктор бросился к Нине, стал щупать у нее живот и после недолгих раздумий вызвал скорую помощь. В больнице нашли камень в нижней части мочеточника и даже сумели вытащить его без дробления. Вячеслав Витальевич постоянно ходил в больницу, настойчиво общался с врачом и вообще вел себя идеально. Но костлявая дама постоянно вспоминалась Нине Ивановне. И то обстоятельство, что не было у нее с доктором никакой физической близости, тем не менее, не освобождало несчастную женщину от ревности, поскольку она считала Вячеслава Витальевича своим мужем.

«И все же не прав этот самый Кант, — думала она в больнице. — Ведь такая жуткая боль не может быть просто так». Извлеченный из мочеточника камень, который подарил ей хирург после операции, чем-то напоминающий морской коралл — светло-коричневый, пористый, с многочисленным отростками — тот самый камень, который вызывал у нее такую жуткую, нечеловеческую боль, ну как мог этот камень не существовать в действительности? Ведь была же боль, и какая! Разве не могла же она быть просто так?

Появление в ее квартире светловолосой воблы разделило жизнь с Вячеславом Витальевичем на две неравные части. После возвращения из больницы все уже было не так, совсем не так. Вячеслав Витальевич купил торт по случаю ее выздоровления, был особенно оживлен и весел, но шутки его уже не казались ей смешными, и он часто повторялся. Нина чувствовала себя плохо, у нее потели руки, по лбу скатывались струйки пота, которые она постоянно вытирала платком. Она хотела спросить у него что-то, но не решалась.

— Скажи-ка мне, — начала она вдруг, неожиданно для себя.

— Что это за пациентка к тебе приходила? Ну, тогда, когда я заболела, помнишь?

Вячеслав Витальевич вспомнил сразу, но почему-то сделал вид, что вспоминает, и это заметила внимательная к мелочам Нина.

— Оксана-то? Хорошая женщина. У нее была клаустрофобия, боязнь замкнутых пространств. Я ее вылечил. Ей бы замуж выйти, но нет возможности. Живет с матерью, а мать — после инсульта, парализованная. Квартира вся мочой провоняла. С матерью днем сиделка сидит. Деньги берет, сволочь, колоссальные!

Нина Ивановна покачала головой. Ей стало жаль эту женщину. Сколько горя в жизни! Вот она одна, в огромной квартире, а за последние шесть лет никого найти не удалось, вот только Вячеслав Витальевич появился, да и он не мужчина вовсе, а квартирант, домашнее животное, умеющее говорить. А эта женщина вообще сама себе не принадлежит. Какой это тяжкий крест — годами с парализованной возиться! И она стала гасить в себе злое чувство к вобле, которая сидела в ее тапочках и ела продукты из ее кафе. А через неделю обнаружила между спинкой и сидением дивана, на котором спал Вячеслав Витальевич, женскую заколку. Ничего не стала спрашивать. Утром, когда пошла на работу, поставила тапочки особым образом — одну на другую. А когда вернулась, обнаружила, что тапочки стояли рядом. Пол в коридоре был вымыт. «Я тут прибирался», — сказал Вячеслав Витальевич. Понятно, он пол мыл. Вот и переставил тапочки. Но в туалете, в мусорном ведре, обнаружила Нина смятую одноразовую салфетку. На следующий день сказала девчонкам, что взяла талон к зубному, а сама после обеда ринулась домой. Не хотелось ей уличить Вячеслава Витальевича. А не уличать, делать вид, что все нормально, она тоже не могла. Нет, уж лучше быть одной, чем так. Хотя, если верить Канту, то вовсе и нет ее, и заколки на диване нет, и тапочки лежали одна на другой, и салфетки в мусорном ведре не было. Или как?

Прав этот Кант, тысячу раз прав! Легче знать, что никакой воблы не было и нет. Ведь ни заколка в руке, ни мятный запах от салфетки еще ни о чем не говорят! О существовании самой воблы, например. И все же она не хотела, чтобы доктор ее дурачил. Жил в ее квартире и встречался там с любовницами. Нет, это уже слишком. Если б на стороне где-нибудь... Что говорить — есть ученые, книжные люди, Канты всякие, а есть люди простые, неученые, реалисты, которые в пять часов утра встают и до пяти вечера ишачат. Некогда им думать о том, существуют ли заколки и тапочки. Да что думать! Существуют же стержовы всякие! И почему мы должны с этим мириться, почему мы должны со всякими воблами мириться? Нина Ивановна уже сделала несколько кругов возле своего дома. Соседка тетя Саша, сидящая на скамейке, с недоумением смотрела на нее.

— Нина, ты что?

— А что, тетя Саш?

— Ты что вокруг дома крутишься?

— Да сережку я потеряла, серебряную. Найти не могу.

— Ну, так ты и не найдешь теперь. Где уж там... иголку в стогу сена искать.

Нина сжала кулаки и решительно направилась к своему подъезду. Вячеслав Витальевич на этот раз испугался не на шутку. — Закон парных случаев! — начал он. — Опять Оксанка у меня. Она сейчас моется.

Через минуту из ванной вышла раскрасневшаяся вобла, обернутая махровым полотенцем. Такого наглого поведения Нина Ивановна и представить себе не могла. Почему-то ей казалось, что все будет так же, как и в прошлый раз, что вобла опять будет сидеть за столом в ее тапочках. Нина бросилась на нее с мокрой тряпкой, но Вячеслав Витальевич быстро скрутил ей руки и запер на кухне. Когда вобла удалилась, он отодвинул шпингалет на кухонной двери и тихо сказал:

— Я ухожу. Не могу жить с психопаткой.

— Через час я вернусь, — сказала Нина. — А ты к этому времени соберешь все свои вещи.

— Не могу жить с психопаткой, — еще несколько раз механически, как робот, повторил Вячеслав Витальевич.

Нина ушла из дома потому, что не могла смотреть на Вячеслава Витальевича. Она пошла куда глаза глядят, и все какими-то дворами. Нельзя сказать, чтобы ушла далеко, но по дворам, прилегающим к ее многоэтажке, никогда не ходила. Да и зачем ей было там ходить? Она ходила только пешком по проспекту в сторону кафе, а потом назад, домой. А когда нужно было ехать далеко, например, в универсам или на вещевой рынок, садилась в автобус или на маршрутку. Возле маленького магазинчика, расположенного в торце большого дома, сидел нелепо одетый алкоголик и торговал книгами. Были там сочинения Пикуля, хорошо известного Нине Ивановне писателя, «Отцы и дети» Тургенева (а эту книжку она читала еще в школе), старые и затертые книжки неизвестных ей авторов. И вдруг она увидела толстую книжку бежевого цвета. Надпись на обложке гласила: «Имануил Кант. Критика чистого разума».

— Почем? — спросила она у алкаша. Цена оказалась чисто символической, равной трем поездкам на городском автобусе. Взяв книжку у алкоголика, Нина Ивановна пошла назад и вдруг поняла, что заблудилась. Рядом стояли похожие друг на друга, незнакомые ей дома. Наконец, вышла она к проспекту, но неожиданно оказалась чуть ли не рядом с кафе, в котором работала. Навстречу шла уборщица тетя Тамара.

— Ну, как зуб? — спросила она.

— Какой зуб? — не поняла Нина Ивановна.

— Ты же к зубному сегодня ходила? Или передумала?

— Да, ходила, ходила. Все залечили.

Тетя Тамара подозрительно посмотрела на Нину и пошла дальше. Подходя к своему дому, она с радостью обнаружила, что свет в комнатах не горел. Войдя в квартиру, она, не раздеваясь, прошла в комнату, где обитал Вячеслав Витальевич. С радостью увидела, что его вещи исчезли. «Ключ у Эдуарда», — написано было на тетрадном листке, лежащем на диване. Холодильник тоже был почти пуст. «Ну что ж, пусть поест хорошенько напоследок», — подумала она, и только в этот момент обнаружила, что держит в руке нелепый, легкий, как паутинка, грязный и рваный целлофановый пакет с профилем девушки в шляпке и надписью «Marianna», который вынул из кармана пальто с каракулевым воротником тот самый алкоголик, что продал ей книгу Канта. Нина прошла в зал, села на диван, вынула книжку из грязного пакета и, открыв ее на произвольном месте, стала читать.

«Во всех суждениях, в которых мыслится отношение субъекта к предикату (я имею в виду только утвердительные суждения, так как вслед за ними применить сказанное к отрицательным суждениям нетрудно), это отношение может быть двояким. Или предикат В принадлежит субъекту А как нечто содержащееся (в скрытом виде) в этом понятии А, или же В целиком находится вне понятия А, хотя и связано с ним».

Стоп, что-то совсем уж непонятное. Во всех суждениях... Суждения могут быть разные. Вот я так сужу, что Вячеслав Витальевич исключительно плохой и грязный человек, хоть и знает философию. Я его кормила, пила, держала у себя, как жирного кастрированного кота, а он оказался вовсе не кастрированным. Он притворялся кастрированным! Отношение субъекта. Да, вот он как раз и есть субъект! И каков субъект!

Нина Ивановна часто слышала, что плохих людей называют субъектами. «Такой вот субъект». А что такое предикат? Вот этого-то как раз Нина Ивановна и не понимала. Может быть, вобла и есть предикат? «Отношение субъекта к предикату». Понятно, какое у него могло быть отношение к этому самому предикату! А утвердительное суждение — это как раз то, о чем догадалась Нина Ивановна, обнаружив на диване закладку! Но сказано же, что отношение может быть двояким. Точнее, могло быть двояким, пока она не обнаружила сегодня эту красную, распаренную воблу, вылетевшую из ее ванной и обернутую полотенцем, которое ей подарили девчонки из кафе на день рождения. Предикат В, именно В, хоть и латинская буква, но совершенно понятно, что она означает, принадлежит субъекту А, то есть Артамонову Вячеславу Витальевичу. А вот что значит, что В находится вне понятия А, хоть и связано с ним? Конечно, связано, и еще как! Грязная, отвратительная связь!

Но чем дальше вчитывалась Нина Ивановна в текст книжки, тем больше ужасалась тому, что совсем ничего понять не может. Она пошла на кухню, включила чайник, потом опять вернулась в комнату. В тот момент, когда она вновь села на диван и стала перелистывать старую, пропахшую затхлостью книжонку, до нее вдруг дошло, что существует некая другая жизнь, о которой она никогда не имела понятия. Ведь не просто же так писал Кант свою книгу! Там и портрет его имелся. Со старинной гравюры смотрел на нее благообразный такой мужчина в парике, похожий на какого-нибудь графа или князя. Для кого он все это писал? Для Вячеслава Витальевича, для субъекта этого? Для предиката этого тощего, воблы распаренной? Уж вобла-то вряд ли Канта читала.

Чайник засвистел, и она опять пошла на кухню. А когда наливала заварку из пузатого заварочного чайника в большую кружку, вдруг отчетливо поняла, что не стоит искать какую-то другую, новую, неизвестную ей жизнь.

Мама, одна мама поняла бы ее. Сказала бы: «Забудь, дочка, этого подонка и его мудреные книжки. Не в этом счастье!» Не в этом... Конечно, не в этом. А в чем же тогда? Вячеслав Витальевич никакого ей счастья не принес. Теперь его нет. Но

ведь и счастья тоже нет. Она прекрасно понимала, что счастья, наверное, вообще нет, так что прав этот мудреный Кант. Но для нее совсем не важно было, есть счастье объективно или нет его. Ей вполне хватило бы всего лишь *ощущения* счастья, но в этот момент ей казалось, что даже этого ощущения она никогда уже больше не испытает.

ДОЧЬ ХУДОЖНИКА

Альбина Пеночкина любила все красивое и праздничное — цветы, бантики, браслеты, вязаные блузки, макраме, кружевные салфетки, к тому же и природные красоты волновали и глубоко трогали впечатлительную девочку. Не могла она примириться с любой неаккуратностью, так или иначе всегда встречающейся в жизни — вплоть до того даже, что голубиные испражнения на скамейках, причудливые червячки кала, наполовину растворившиеся в белесой, похожей на разбавленное молоко, моче, всегда настойчиво вытирала приятно пахнущими ароматическими одноразовыми салфетками, которые постоянно лежали в ее изящной бежевой сумочке с причудливыми серебряными застежками. И совсем не важно, что скамейки были муниципальные, не принадлежащие самой Альбине. Просто девушка не могла смириться ни с какой неаккуратностью, тем более в общественном месте.

Окна в ее квартире всегда празднично блестели, пол был вымыт с опоморачительной тщательностью. Все, что попадало под руку чистоплотной девочке, моментально преображалось и изменялось до неузнаваемости. Стремление к чистоте было основным вектором развития провинциальной барышни, и чистота физическая как раз была только внешним проявлением этой направленности. Больше всего Аля стремилась к чистоте духовной, нравственной. Совершить поступок, кажущийся ей плохим, она просто не могла себе позволить.

Ее мама, Нина Ивановна, была женщиной умной от рождения и не лишенной административной жилки. Происходила она из семьи бедной и многодетной, и пришлось ей после восьмого класса оставить тетрадки с учебниками и пойти работать нянечкой и техничкой в располагающийся неподалеку детский интернат. Часто, когда воспитательницы болели, она заменяла их, а потом и сама стала воспитательницей. И лишь когда замаячило ей вполне реально место заведующей комбинатом, закончила, с грехом пополам, местный педагогический техникум.

В школьные годы, в классе этак в шестом, привела ее подружка в изостудию, где преподавал Николай Михайлович Терентьев, человек добрый и талантливый. Обстановка в изостудии настолько отличалась от того, что видела Нина в школе и дома, настолько Николай Михайлович привлек ее всей своей личностью и неисчерпаемой любовью к живописи, что девушка и жила только посещениями студии, хотя рисовала весьма посредственно. Николай Михайлович отдавался работе в изостудии полностью. В теплое время года всегда вывозил ребят на этюды. Особенно он любил поездки в древний Спасо-Преображенский монастырь, располагающийся в низине на левом берегу Волги.

Веселая стайка детей, возглавляемая длинноволосым и бородатым художником, прыгающая и гогочущая, сильно отличалась от любого другого детского сообщества. Сплачивала их не столько сама живопись, не изобразительное искусство вообще, краеугольным камнем которого всегда было обыкновенное мастерство, точнее, ремесленничество. Сплачивала их любовь к искусству, к тому самому великому искусству, которое поднимало их над землей и превращало из обычной щебечущей стайки детей в группу единомышленников. Уже в те годы возникло у Нины двойственное отношение к Николаю Михайловичу. Был у него существенный недостаток, который весьма мешал напряженной и вдохновенной работе — недостаток весьма традиционный для русской творческой нивы, а именно — во-

плащая и болезненная страсть к зеленому змию. Но в те годы она еще не понимала, что эта страсть зашла слишком далеко. Нина посещала изостудию недолго — года полтора-два. Художником быть она никогда не хотела, да и не могла из-за полного отсутствия способностей. Романтичный Николай Михайлович, вечно окруженный гогочущей стайкой юных художников и художниц, несомненно, привлекал ее, как привлекает все новое и необычное, но свинцовая правда жизни в виде постоянно больной матери и голодающих младших сестер вынудила ее на недолгие поиски работы. Никогда она не думала, что ее будущая деятельность будет связана исключительно с мытьем полов и детских горшков, а также с украшением разлапистых елок и вырезкой из картона громадных новогодних снежинок. Но, с другой стороны, если бы ей предложили другую работу, она вряд ли бы отказалась. Те восемь лет, в течение которых она не пересекалась ни со студийцами, ни с их наставником, не были особенно интересными для нее. Отец умер скоропостижно, мать погибала от рака желудка, три младших сестры вели себя отвратительно. Личная жизнь никак не складывалась. Однажды, в холодный до омерзения ветряный октябрьский день, на засыпанной опавшими листьями трамвайной остановке, увидела она свою одноклассницу, Лену Бережнову, ту самую, которая однажды привела ее в изостудию. Бывают же законы парных случаев! В этот день Бережнова предложила ей ехать туда же: «Сегодня Николай Михайлович отмечает двадцатилетие студии. Поедешь со мной?» Поехали. И началась вторая серия общения с художником, уже куда более грустная и куда менее возвышенная. Нина была потрясена тем, как изменился Николай Михайлович за эти восемь лет. Он почти полностью поседел, высокий сократовский лоб испещрили глубокие морщины. И весь он был какой-то подавленный, забитый, неухоженный, как будто ударенный поленом по голове, а коричневая замшевая курточка, перепачканная масляной краской, та самая курточка, в которой он восемь лет назад встретил ее все в той же изостудии, в нескольких местах разошлась по швам, и черные завитки ниточек торчали из этих швов так уныло, так по-нищенски, так безысходно, и как будто стеснялись чего-то. Говорил он все так же возвышенно, глаза его (единственное, что казалось живым во всем облике художника) неестественно блестели, и Нину тогда уже потрясло почти полное отсутствие связи между блеском живых молодых глаз и неподвижным, несколько одутловатым, маскообразным лицом. Потом она часто вспоминала и анализировала эту историю. Анализировала и вспоминала. Она подсчитала, что на момент своей второй и последней встречи с Николаем Михайловичем ему было всего лишь сорок два года. Интересно, что он выглядел намного старше своих лет, и происходило это, наверняка, из-за его почти постоянного пьянства. Николай Михайлович, в свою очередь, тоже был удивлен переменной, произошедшей с Ниной. Эта простенькая, улыбчивая, малоспособная девочка-подросток превратилась в привлекательную молодую женщину, правда, немного полноватую. Но Николай Михайлович знал по себе, что физические недостатки женщин исчезали тем быстрее, чем больше водки было им выпито. В тот момент какая-то маленькая, душечипательная, умильная искорка вспыхнула между ними. Совсем, совсем мала была эта искорка для того, чтобы превратиться в серьезное чувство, к тому же разница в возрасте — что говорить! — давала знать о себе. Да и для Нины эти восемь лет прошли не так уж незаметно. Если в свои шестнадцать она смотрела на Николая Михайловича как на необычного, особенного, талантливого человека, то теперь он предстал перед ней человеком большим и безнадежно опустошенным. Не было в нем стержня, не было того внутреннего содержания, не было того крепкого, нерушимого мрамора, из которого многие несамостоятельные женщины пытаются сотворить этакую многометровую каменную стену, за которой можно всю жизнь прожить, порхая на легких крыльях мотылька и при этом ничего не делая.

Иногда, Нина, к счастью своему, также, впрочем, как и ее дочка Аля, о которой речь пойдет у нас и дальше, вовсе не принадлежала к распространенной породе архитекторов каменных стен собственного комфорта и благополучия, а равно дворцов изобилия и садов любострастия для перманентного удовлетворения потребностей, инстинктов и капризов. Она к тому времени и сама была опустошена, но не тем безнадежным, больным опустошением, которое так характерно для шизофреников, алкоголиков и наркоманов, но тем опустошением, которое вызвала в ней криминально-свинцовая русская действительность девяностых годов прошлого столетия.

Нина не искала никаких иллюзорных стен, никогда не использовала людей в корыстных целях. Она никогда не была гедонисткой. Просто она устала. Запретельно устала. Достаточно устала для того, чтобы захотеть «забыться и заснуть», как писал некогда юный поручик Лермонтов, но заснуть уж, разумеется, не «холодным сном могилы». Когда все бутерброды с дешевой жирной колбасой были съедены вместе с грязными шкурками, а спиртные напитки выпиты, она поехала с ним из изостудии в мастерскую. К тому времени у Нины уже был достаточный опыт общения с мужчинами — не настолько большой, чтобы разбираться в их несхожести и во всей тонкости и особенностях психологии конкретного экземпляра, но достаточный для того, чтобы понимать то, что их объединяет.

Поэтому ни о каких злых, низменных помыслах бедного и большого художника не могло быть и речи. Нина поехала к нему по своему желанию, с единственной целью — как-то отвлечься от убогой, однообразной, утомительной жизни. В жалкой мастерской, куда привел ее Николай Михайлович, все напоминало пародию. Пародию на человека и человеческую жизнь вообще. Ни на один из трех стульев, стоящих в мастерской, нельзя было сесть, не опасаясь получить травму — у одного из них отсутствовала ножка, у второго сиденье не соединялось с корпусом, а третий стульчик был детский, нелепый, пластмассовый, ярко-оранжевого цвета, с круглой дырочкой посередине. Повсюду валялись мятые тюбики от масляной краски. Казалось, что Терентьев специально мял эти тюбики, специально так вычурно, так по-эстетски, так по-извращенчески издевался над ними, поскольку существо живое и самостоятельное, не столь беззащитное, немое и податливое, как тюбик, ему этого бы никогда не позволило. Меньше всего интересовало Нину, насколько талантлив Николай Михайлович, насколько его творчество обогатило мировое изобразительное искусство. Эти чисто мужские рассуждения всегда были далеки от нее. В художнике она видела, прежде всего, больного и одинокого человека, выбравшего в жизни сложное, неблагоприятное дело. Интересно, что молодая и не слишком образованная женщина прекрасно понимала, что талант и успех — совершенно разные вещи, редко пересекающиеся в жизни вообще, а уж в русской действительности и подавно. Поэтому даже если бы ее пригласил к себе в мастерскую Леонардо да Винчи, это не произвело бы на нее никакого впечатления, и она совсем бы не удивилась, что ни на один стул в мастерской Леонардо нельзя сесть, а на облупленные стены нельзя смотреть без слез. На пожелтевшей газете, криво закрывающей школьную парту, служащую художнику письменным столом, стояла початая бутылка водки, валялись засохшие и заплесневевшие корки хлеба, чешуя от воблы, напоминающая звездное небо яичная скорлупа. Из всех грехов человеческих, наверное, только грех табакокурения не был присущ художнику. От него пахло потом, водкой и скипидаром. Словом, никакого отдохновения — ни физического, ни душевного — у Нины не получилось. Последствия же были неожиданными. Неожданными только для Нины, но не для окружающих — например, не для жирной бабы из женской консультации, бывшей не только гинекологом, но и старостой общины евангельских христиан-баптистов, настоятельно рекомендовавшей молодой женщине не прерывать беременность.

Николай Михайлович проявил полное равнодушие к происходящему. Он сделал вид, что совсем не помнит, что было в мастерской, чем оттолкнул от себя эмоциональную девушку полностью. Рождение и воспитание Али не было для Нины трудным и мучительным. Скорее, наоборот. Девочка у нее родилась вполне здоровая, активная, развивалась по всем правилам, и с трехлетнего возраста стала вместе с мамой ходить в комбинат. А там у нее все были свои — и нянечки, и уборщицы, и воспитательницы. А когда она стала директором, Альбина уже училась в шестом классе. К тому времени все сестры Нины вышли замуж, уехали: одна в Москву, другая в Киров, третья в Чебоксары. Голодные девятности прошли и забылись, сама она встала на ноги окончательно. Дочка только радовала ее своими успехами — окончила школу с золотой медалью, поступила на мехмат университета.

Все хорошо было у Али. Учеба ей нравилась, до серьезных отношений с мальчиками она в свои двадцать лет еще не доросла, остерегалась всего этого, как темной ямы. Но, как мы писали, была она девочка очень правильная и всегда переживала, когда возле нее случалась какая-либо неправильность.

Так вот, самая большая неправильность в ее жизни в ее двадцать лет заключалась в том, что не знала Аля своего папу и не общалась с ним. Она бы еще, наверное, могла смириться с этим, если бы папа жил далеко, где-нибудь в Америке или Австралии. Но в наше время, когда есть Интернет, и Америка не такой уж далекой ощущается, не нужно в «Титаник» садиться, чтобы доплыть до нее, и никаких плавучих айсбергов можно не опасаться. Напрасно пыталась она выведать у Нины Ивановны, где живет ее папа. Мама отвечала только одно — что не знает и знать этого не хочет. Почувствовала Аля, что мама вроде как даже боится того, что ее папа найдется. Однажды Нина Ивановна высказала ей такую мысль, что, дескать, и не стоит тебе с этим негодяем общаться, поскольку он ничего для тебя не делал — не растил, не воспитывал, не менял памперсы, не покупал микстуры и таблетки, все делала я в гордом своем одиночестве. И что, дескать, несправедливо это получится — растила тебя я одна, а теперь вот, когда выросла, вдруг он появится, на все готовенькое, и будет пользоваться твоим вниманием.

Альбина, однако, знала всю предысторию отношений родителей, знала, что отец ее не простой человек, а художник. Она так и во всех анкетах писала, что мама у нее воспитатель, а папа художник, а почему она мамину фамилию носит, а не папину, так это потому только, что она с мамой живет, а не с папой. Папа вообще отдельно живет, в своей мастерской. Он ведь художник, ему рисовать надо. Именно так она объясняла ситуацию школьным подругам. Но теперь, в университете, так уже говорить она не могла.

Правильность мешала Але делать что-то втихую, втайне от мамы. Тем более что от такой хорошей мамы ей никогда и не хотелось что-то скрывать. Но и жить вдали от своего папы она не хотела. К тому же за последние годы Альбина столкнулась с тем, что смотрит на некоторые вещи совсем не так, как мама. Подозревала она, что и в отношениях ее родителей все было не совсем так, как воспринимала Нина Ивановна, что есть у ее папы какая-то тайна.

Наконец, решила Альбина найти своего папу самостоятельно. И выискала через всемогущий Интернет сразу трех Терентьевых Николаев Михайловичей, зарегистрированных в их небольшом областном городе, но два из них — тридцать восьмого и восемьдесят пятого годов рождения никак не подходили к возрасту ее отца. Третий же, рожденный четвертого мая пятьдесят первого года, как раз подходил, поскольку Аля знала, что она родилась, когда папе было сорок два года.

Проживал этот подходящий Терентьев совсем недалеко от нее, в пределах пешеходной доступности, на улице Большой Перекрестной. Аля хорошо знала этот район, поскольку на Большой Перекрестной находился детский садик, где одно время работала мама.

«Неужели папа живет так близко? — думала Аля. — Нет, наверное, это не он, а какой-то его однофамилец. Ведь если бы он жил так близко, то наверняка ходил бы к нам в гости».

Пойти по найденному адресу Альбина решила в воскресенье вечером, поскольку вечерами люди обычно уже бывают дома. Правда, художники — люди особенные, они могут и ночами в мастерской сидеть.

До Большой Перекрестной дошла она за пятнадцать минут. Дом Николая Михайловича был третьим после поворота. Двухэтажный, серый, гнилой, накренившийся, с изломанными наличниками на окнах. В одном месте к фасаду дома была прибита огромная фанерка с большими красными буквами — «ВРЫ». Это была часть какой-то надписи. Альбина поймала себя на том, что ее заинтересовало, какая часть слова стала укреплением фасада гнилого дома. Должно быть, кто-то написал «Ковры». Наверно, именно ковры. Реклама ковров.

Из подъезда пахло запахом невыбитых ковров (да-да, именно ковры!), кошачьей мочой и человеческими фекалиями, жареной рыбой и еще чем-то гнилым, затхлым, чем обычно пахнет в овощехранилищах. «Квартира один, — подумала Альбина. — Значит, на первом этаже».

— Вы к кому? — спросила тощая, неопрятно одетая женщина неопределенного возраста с глухим, осипшим, пропитым голосом.

— Скажите, не здесь живет художник? Терентьев, Николай Михайлович?

— Художник? — усмехнулась женщина.

— Ну да, художник. От слова «худо». Только он теперь не рисует. Рук у него нет.

— Как это нет? — не поняла Аля.

— А так вот нет. Отморозил коляпы свои, пока в сугробе валялся. Если б я его вовремя не заметила, то окоцурился бы совсем.

— Скажите... а это тот самый художник? Терентьев? Николай Михайлович? Он не просто рисует, он художник!

— Член Союза художников России! — с напускной гордостью произнесла баба. — Тот самый, девушка. А вы, собственно, ему кто?

— Я его дочь.

— Ба! Вот те новости-то какие! Твою мать! Колька, слышишь меня? К тебе дочка в гости пришла! — И посмотрев еще раз на Альбину каким-то сумасшедшим, ерническим взглядом, добавила: — Проходите, барышня. Можете не разуваться. Мы люди простые.

На диване, покрытом полосатым пледом, сидел лысый старик в сером свитере с большим шрамом во всю щеку. Рукава свитера были завязаны на спине. Сначала Аля решила, что это вовсе не папа, а кто-то другой. Ведь папе, по ее подсчетам, должно было быть сейчас всего лишь шестьдесят два года. Возраст, конечно, совсем не молодой, но не такой уж и старый. Ректору университета, где училась Альбина, профессору Чиженкову, тоже шестьдесят два. Но у него ни одного седого волоса, и выглядит он как голливудский актер. Каждый день меняет ботинки, костюмы и галстуки... А тут ее папа, художник, и вдруг такой!

На стенах висели картины в простых деревянных некрашеных рамках, которые привлекли внимание Альбины — верба, стоящая в граненом стеклянном стаканчике, ландыши в голубой вазочке, гроздь высушенной рябины на снегу. Все это было очень красиво и совсем не вязалось с отвратительной обстановкой этого дома. Аля никак не могла поверить, что автором этих живых, красочных картин мог быть лысый, беззубый и безрукий старик.

— Дочка, — проговорил он хриплым, высоким, бабьим голосом. — Я знаю тебя, дочка. Аля, Аленька. Тебе сказали, что я умер. Врут они все! Врут, суки! Врут, дочка, врут... Я знал, что ты придешь ко мне, знал... Ждал тебя папка твой! Все-

гда ждал! И тебе, сука старая, всегда говорил, придет ко мне дочка, Алька моя придет!

— Что это ты разорался, хрен моржовый, — парировала алкоголичка. — Первый раз от тебя о дочке слышу!

— Вот с...сука, — пробурчал художник, обращаясь к Але. — Садись, дочка. Может, в магазин сбегашь за чинариком? Все же такое отметить надо! Я тебя тридцать лет ждал!

— Двадцать, — поправила Альбина.

— Ну, двадцать, — согласился Николай Михайлович. — Тоже срок! Сбегай, услужи старичку! Магазин за углом, на Третьей Ямской. Отметим встречу. Ведь скоро не будет папки у тебя. Умирает папка твой. Как ты без меня будешь?

— Уж конечно! — добавила баба. — Двадцать лет без тебя прожила, а теперь вот не сможет.

— Сможет! — крикнул художник. — Но будет помнить, что был папка у нее, к которому она двадцать лет не ходила!

Альбине вдруг стало так грустно, что она заплакала. Ведь это она виновата в том, что папа стал таким! Ведь если бы она пришла к нему раньше, то все было бы по-другому, совсем по-другому. Надо вылечить его от пьянства!

— Нет, папа... — проговорила она. — Нельзя так жить. Нельзя столько пить. Ведь вы талант... художник... Как же вы... как же ты себя не уважаешь, папа!

— Уважаю! И ты меня уважить должна! Сказал папка — сходи в магазин, значит, сходи. Уважь старичка перед смертью!

— Он дело говорит, — вмешалась баба. — Надо это отметить. Дочь все-таки. А меня Валентина Петровна зовут. Тетя Валя. Я ему и жена, и сестра, и мать. И даже дочь — алкоголичка противно захихикала.

Дело кончилось тем, что Альбина сходила за бутылкой, и даже выпила два маленьких стаканчика водки. Это оказалось достаточным для нее, чтобы сильно опьянеть. Домой она пришла поздно, сразу же легла спать, а утром, не выдержав укоризненного взгляда матери, рассказала ей всю правду.

— Я была готова ко всему, только не к этому, — произнесла Нина Ивановна. — Мало того, что сам спился, хочет еще и дочь спить! Не позволю я ему этого! А ты забудь к нему дорогу.

Но Альбина была сильной девушкой. Внутри у нее был некий стержень, который согнуть было невозможно. Она стала ходить на Большую Перекрестную, подружилась с тетей Валею, вымыла там окна и полы и вызвала к папе врача-нарколога. Святослав Игоревич приехал на своей машине. Он оказался очень молодым человеком, но свое дело знал и сразу сказал, что это случай тяжелый, запущенный, и что за результат он не ручается.

Однако, как часто бывает в таких случаях, результат как раз имел место. После кодирования Николай Михайлович перестал пить, но характер у него изменился в худшую сторону. Дурашливость и эксцентричность полностью исчезли, но появились необычайная злоба и раздражительность. Однажды он три часа рассказывал Альбине о своей жизни. Это был рассказ умного, опытного, трезво мыслящего и образованного человека. Но сколько неприкрытой ненависти к людям было в этом рассказе! Отец Николая Михайловича был негодяем и пьяницей, мать — расчетливой эгоисткой, любившей только своего младшего сына, для которого она всегда оставляла самые удачные пирожки. В школе его незаслуженно обижали, в художественном училище затирали, в Союз художников не принимали двадцать лет, не брали картины на выставку, плели против него интриги, однажды даже подожгли старый дом, где была его мастерская. Единственно кого любил Николай Михайлович, так это своих студийцев! Но никто из них не стал профессиональным художником, даже талантливые ребята. Почему? Потому что

испугались безденежья, холодных мастерских, бесконечной безжалостной русской жизни.

— Все уехали. Все талантливые уехали. Остались только мы, бедолаги.

Аля спорила с папой, говорила, что так нельзя говорить про свою родину, что это же родина, она у нас одна, она же как мама, ведь мама только одна, нельзя, нельзя так про родину. И Бог не велит.

— Бог?! Какой Бог?! — заорал тогда отец. — Какой такой Бог? Где ты видала этого Бога?! Забудь ты это слово — Бог. Где был этот ваш Бог, когда мои картины не брали на выставки, когда меня двадцать лет не принимали в Союз художников? А ведь мои произведения есть в частных коллекциях! В Париже! В Берне! В Лос-Анджелесе! А я живу в этой халупе, с этой старой...

— Ты не очень-то, — вклинулась тетя Валя.

— Да-да, грязная, бухая шалава. Алкоголичка ты, ничтожество, подстилка бомжовская!

— Закройся, статуя безрукая! — заорала тетя Валя. — Стоит статуя в лучах заката...

Альбина заткнула розовые ушки маленькими пальчиками. Она не выносила брань. И все же у папы бывали просветы, и иногда он превращался в совершенно нормального человека.

Со временем таких просветов становилось все больше и больше. Теперь они уже часто гуляли вместе по Большой Перекрестной до набережной Оки, сидели на скамейке, глядя на крутой склон и канавинский берег. Папа рассказывал о своем детстве, о великих художниках, о деревьях. Он очень тонко чувствовал природу и понимал ее. Альбина все больше и больше убеждалась, что он по своему развитию сильно опережал ее правильную и во всем положительную маму. Никак не могла она понять, почему рядом с папой оказалась такая пошлая, примитивная, недостойная его женщина, как тетя Валя. Ведь художник должен иметь другую подругу! Музу! Красавицу! Женщину, воплощающую в себе красоту, доброту и образованность.

Однажды она сказала об этом папе, когда они сидели на той же скамейке. Услышав эти слова, папа... захохотал! Какой-то дикий, животный хохот извергался из него. Альбине показалось, что отец сходит с ума.

— Муза... Красавица... Ха-ха-ха! — взвизгивал он, как веселый маленький розовый поросенок. Это продолжалось минут десять.

— Ну и насмешила ты меня, дочка, — сказал он, наконец. — Никогда я так не смеялся, честное слово. И какая ты у меня еще глупенькая!

Как мы уже писали, Аля была медалисткой, отличницей, и в школе равно успевала по всем предметам. И хотя она и поступила на механико-математический факультет, поскольку очень любила математику и любую задачу или уравнение решала за считанные секунды, была она не лишена и гуманитарных способностей, в частности, некоторого литературного дара. Да и вообще любовь ко всему красивому не так просто появилась у нее — все-таки родной отец у девочки был профессиональным художником. Альбина писала небольшие заметки в университетскую газету и подружилась с ее редакторшей, Галиной Анатольевной. Бездетная профессиональная поэтесса, очутившаяся в газетке после горбачевской катастрофы, стала опекать эту удивительно светлую, солнечную девочку. Поскольку Нина Ивановна продолжала негативно относиться к общению Альбины с отцом, девушка начала делиться мыслями и впечатлениями с Галиной Анатольевной, ставшей для нее в это нелегкое время второй мамой. Когда редакторша узнала историю встречи Альбины с Николаем Михайловичем, то предложила ей сделать в университете выставку его работ. В дальнейшем оказалось, что Галина Анатольевна была замужем за местным художником, почти

ровником Терентьева, очень ценившим его работы и помнящим его еще по художественному училищу.

Узнав о предложении университета, Николай Михайлович изменился в лице. Губы у него задрожали, и он заплакал.

— А я уж думал, что теперь никому не нужен. Ведь я давно не художник, а человеческий обрубок!

— Не смей так говорить! — оборвала его Альбина. — Ты прекрасный художник. И всегда помни, что у тебя есть я. И пока я с тобой, у тебя будет еще много выставок!

Картины Терентьева пришлось доставать из сарая. Половина из них сгнила, половина находилась в состоянии, нуждающемся в реставрации. Однажды Альбина увидела удивительную сцену. Она пришла неожиданно, Николай Михайлович не ждал ее. Он сидел за столом, во рту у него была кисточка. Художник медленно водил кисточкой по холсту. Альбина не сразу поняла, что он делает. Но потом до нее дошло — отец рисовал ртом! В этот момент он реставрировал промокшую в сарае акварель. Выставку-продажу открыли в фойе актового зала биологического корпуса. Всего было выставлено более сорока работ — в них входили те, которые висели в квартире на Большой Перекрестной и не слишком пострадавшие от пребывания в сарае. В этом фойе частично выставляли свои картины местные художники, а чаще других, конечно, муж редакторши. Деловая женщина сумела организовать выпуск цветных буклетов, посвященных выставкам, и все это, разумеется, на деньги университета. Выставка-продажа работ Терентьева оказалась делом более чем успешным. Из сорока трех выставленных работ было продано восемь (а это небывалый успех!) на общую сумму в тридцать семь тысяч рублей. О выставке были заметки в нескольких областных газетах. Но это все было такой ерундой по сравнению с папиным горем! Если б она могла его увидеть тогда в этом ужасном сугробе! Она бы сразу его вытащила! И тогда бы он до сих пор рисовал! После выставки Николай Михайлович изменился. Купил новый костюм и ботинки. Теперь он умудрялся вешать себе на шею (при помощи рта и ноги) кошелек на длинной веревке и так ходил по магазинам. Продавцы сами доставали из кошелька деньги и клали туда сдачу. Вообще он был довольно умен и изобретателен.

В эти дни Альбина часто думала о том, что вовсе не Святослав Игоревич спас отца от пьянства. Просто нарколог появился в тот момент, когда внутри Николая Михайловича произошел какой-то перелом. Она с радостью наблюдала, что из его речи почти полностью ушел мат, да и свойственная ему злоба поутихла, стала как-то растворяться. А потом случилось то, о чем Альбина могла только мечтать. Однажды она пришла к нему домой и поняла — что-то произошло. В квартире стало намного меньше вещей. Запах жареной рыбы полностью улетучился.

— У меня, дочка, новости — сказал он. — Я Вальку выгнал. Не нужна мне она. Но ты не волнуйся — я с хозяйством и без нее как-нибудь справлюсь. Мне только научиться надо. Я тут по телевизору смотрел передачу про одного американца. У него ни ног, ни рук. А у меня есть ноги! Я могу ходить, бегать, прыгать! Представляешь, каким счастливым я ему кажусь! Спасибо тебе за эту выставку! Ведь после нее я другим человеком стал!

И вдруг, в этот момент, как будто молния пронзила Альбину. «Мама, — подумала она. — Мама». Да-да! Сейчас сама судьба указывает ей на то, чтобы соединить своих родителей. Они все обязательно должны быть вместе, и папа должен жить с ними. Но как мама? Неужели она захочет этого?

— Нет, Альбина, — сказала ей Нина Ивановна. — Нет и еще раз нет. По-человечески мне очень жаль его. Бог его наказал, и наказал чрезмерно. Я никогда не пожелала бы ему такого, даже когда он меня бросил. Но я никогда не любила его

как мужчину. Уважала, конечно, когда была девочкой и ходила к нему в студию, даже восхищалась им. Но не любила. Вспоминаю эту гриву нечесаных грязных волос... Нет, нет! — Он теперь без волос, — начала было Альбина. — Папа совсем лысенький.

— Неважно... Тебе он папа, а мне — никто. Я готова простить ему все, совершенно все, даже то, что он меня бросил в самый тяжелый для меня момент, даже за то, что не пришел потом ни разу. Мир тесен, и он многое знал о тебе, и напрасно ты удивилась тогда, при первой встрече, когда он сам назвал твое имя. У нас много общих знакомых. Я сначала не хотела, чтобы вы встречались, но потом передумала. В конце концов, это твое дело. Это твой отец. Но я с ним жить не хочу. И не могу. А если ты такая хорошая дочь и не можешь бросить отца-инвалида, то переезжай к нему. Живи там, ухаживай за ним. А я за ним ухаживать не буду. Я имею на это право.

Конечно, уйти от Нины Ивановны Аля не могла. И это можно было понять. Дом ее был не на Большой Перекрестной, а там, где она жила вместе с мамой всю сознательную жизнь, где стояли знакомые с детства письменный стол, кровать и тумбочка, старенький сломанный проигрыватель «Аккорд», на котором никто уже давно не крутил никаких пластинок. Но и у папы она была практически ежедневно, а то и по два раза в день. Сам папа не мог подогреть еду на плите, ему приходилось пользоваться электроплиткой, причем вилку в розетку он научился кое-как втыкать босой ногой. Конечно, Але еще повезло с тем, что папа жил так близко — быстрым шагом Альбина доходила до него за тринадцать минут. Однажды она пришла к нему вечером, после занятий. И только свернула с Третьей Ямской, поняла — случилось недоброе. Возле двери стояла оранжевая газель «Скорой помощи» с широкой красной полосой. Машину вызвала соседка.

— Такое часто бывает, — сказал розовощекий врач, с рыжеватой лопатообразной бородкой. — Кровотечение из пищеводных вен. Уверен, что у него цирроз печени.

Почему-то ей казалось, что папу еще будут лечить. Ведь это же врачи! Умереть он не мог. Это было как-то слишком несуразно, поскольку рушило все ее планы на папино возвращение к нормальной жизни. И все-таки это произошло. Он умер уже тогда, когда она подошла к его дому.

Лена Бережнова, подруга Нины Ивановны, собрала не меньше двух десятков папиных учеников, которые существенно помогли Але с похоронами. Появилась и тетя Валя с новым ухажером, которые напильники до упопомрачения. Никаких родственников Николая Михайловича отыскать не удалось.

Через год, когда могила Николая Михайловича осела, и деревянный крест-временка накренился вперед, готовясь обрушиться на злокозненную и недобрую землю, поставила Альбина на ней памятник из черного гранита. На памятник она отдала все свои тогдашние сбережения. Эскиз его сделала папина ученица, ставшая архитектором. Гранитный монумент увенчивала причудливая спираль с изображением кистей и палитры. Издалека было понятно, что это могила художника.

Мне однажды довелось быть на этом кладбище. Проходя через ворота, я случайно услышал, как одна женщина говорила другой: «Увидите могилу Терентьева, и от нее направо». — «Чью могилу?» — переспросила другая. — «Терентьева, известного художника. Да не волнуйтесь, Вы мимо этого памятника не пройдете, он сразу в глаза бросается». А недавно картинами Терентьева заинтересовались искусствоведы из Франции. Не знаю, купили они их или нет, но по местному телевидению был об этом фрагмент. О картинах отца рассказывала Альбина. Увидев ее на экране, я поразился тому, как она изменилась. Повзрослела, располнела, вся как-то округлилась. И удивительно похожа стала на свою маму, Нину Ивановну.